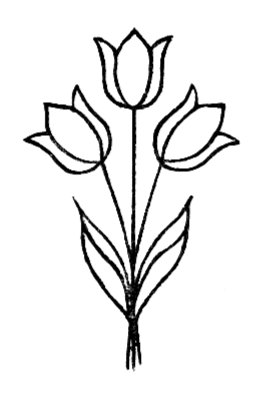
С. Б. БАЛЫКОВ

СИЛЬНЕЕ ВЛАСТИ

СБОРНИК РАССКАЗОВ



МЮНХЕН
1976

С. Б. БАЛЫКОВ

СИЛЬНЕЕ ВЛАСТИ

СБОРНИК РАССКАЗОВ

МЮНХЕН
1976



Druck: Buch- und Offsetdruckerei Stenzenberger, Tel. 8 12 46 30

ПРЕДИСЛОВИЕ

Наша молодежь родившаяся и выросшая за границей, ничего не знает о прошлом своего народа. Поэтому мы даем тут о нем краткие сведения.

Калмыцкий народ это — часть монгольского, История монголов более известна со второй половины XII столетия, т.е. со времени начала завоевания народов и создания Монгольской империи Чингис-Ханом. Следовательно, и история калмыков берет свое начало с момента объединения разрозненных монгольских народов и возникновения империи.

После крушения Монгольской империи в XIV столетии, предки калмыков (отдельные монгольские племена) объединились в так называемый «Ойратский Союз» («Дорвен оред») и на протяжении трех веков вели борьбу против разных, отпавших от империи, частей, с целью нового восстановления единства монгольских племен и империи.

В XVII веке эта борьба кончилась поражением калмыков («ойратов») в борьбе с манджурами.

В результате этого поражения, часть «Ойратского Союза» пошла на запад и к 1632 году достигла берегов Волги и Дона, где и осталась жить особой независимой национальной жизнью, с национальной властью в лице своего Хана.

Приход калмыков в пределы России совпал с началом внутренней консолидации русского народа, с периодом так называемой русской экспансии, выражавшейся в стремлении завоевать соседние народы и подчинить их русской власти.

Калмыки, никогда в чужом подчинении не бывшие, с самого начала прихода на Волгу, столкнулись с этой русской экспансией и в течение почти полтора века оказывали упорное сопротивление русскому нашествию, защищая свою национальную свободу.

Вполне понятное явление — стремление большого народа к увеличению своей территории и государственной мощи, и такое же естественное явление — стремление маленького народа защитить и отстоять

свое национальное право, национальную независимость, столкнулись, как говорится, лбами. Борьба была неравная. И эта неравная борьба продолжалась долго.

Во второй половине XVIII столетия для ведущего калмыцкого слоя стало очевидно, что борьба эта должна кончиться победой русских, и потерей калмыками своей национальной свободы. Тогда калмыки решили уйти обратно в Азию, но не покориться русским. И в 1771 году четыре пятых калмыцкого народа ушло я Азию, в пределы Китая, где живут и до сих пор, составляя Синкианскую провинцию Китая.

Оставшаяся в пределах России 1/5 часть калмыков потеряла всякий признак национальной власти, полностью была подчинена русской власти и постепенно превратилась в забытую провинцию России, управляемую «Попечителем калмыцкого народа» — русскими чиновниками из Петербурга.

Такое положение сохранилось вплоть до революции в 1917 году. Калмыки февральскую революцию приветствовали, надеясь, что она принесет им национальную свободу. Но пришла «октябрьская» революция, к которой калмыки с самого начала отнеслись резко отрицательно. В двухлетней вооруженной борьбе против большевизма, вместе с казаками и другими свободолюбивыми народами, калмыки в 1918-20 г.г. понесли огромные потери людьми и материальным богатством. Эта антибольшевицкая борьба происходила в необыкновенно тяжелых условиях и при бесчеловечной жестокости к калмыкам со стороны большевиков...

При советской власти была сначала создана Калмыцкая Автономная Область, которая, в 1935 году была переименована в Калмыцкую (Автономную) Социалистическую Советскую Республику. Но калмыки, в своем большинстве, очень плохо воспринимали учение «Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина». Поэтому, указом Верховного Совета СССР от 27 декабря 1943 года Калмыцкая республика была ликвидирована и весь народ сослан на принудительные работы в Сибирь, где и прожил 18-20 лет в ужасных и страшных условиях!

Калмыки вернулись на свои земли, но сколько их вернулось? . . .

Так, через 311 лет после прихода в пределы России, Москва ликвидировала калмыцкий народ, путем простого правительственного распоряжения. Основанием такой ликвидации послужило: «сочувствие калмыков немцам в годы войны».

Калмыки исповедуют буддийскую религию. Их религию принято называть северным буддизмом или ламаизмом. Номинальный духовный их глава Далай-Лама, раньше жил в Лхассе. До революции калмыки туда часто ездили как на поклонение, так и для усовершенствования своего религиозного знания.

*

Автор рассказов, Санджи Басанович Балыков. Сын донского калмыка-казака хутора Богла, Денисовской станицы Сальского округа. Родился 2 марта 1894 года в Задонской степи. Отец его — табунщик коннозаводчика Супрунова. Нужно сказать, что в Задонской степи, в качестве табунщиков у коннозаводчиков издавна, почти не меняясь в своем составе, жило несколько сот семей калмыков. С. Балыков там родился и там вырос, а потому он в своих рассказах с такой особенной любовью описывает эту степь. . .

У Басана и Ниме Балыковых было 9 детей. Он с детства отличался любознательностью и острой памятью. Знал наизусть все народные сказки, песни и предания. В семье служил справочной книгой о всевозможных событиях года. Ввиду этих его качеств, родители из всех своих многочисленных детей только его одного решили послать в школу, и, несмотря на его 13 лет, отвезли его к дяде в хутор Богла, чтобы он там мог посещать местную приходскую школу. Будучи все время самым лучшим учеником своего класса, он окончил последнюю с отличием в 1909 г. В августе т. г. поступил в Великокняжеское (окр. станица С.О.) высше -начальное училище. Здесь учился посредственно и легко, не проявляя особенных усилий и стараний. Отличался только по русскому языку и по письменной

работе. Страшно увлекался чтением. Поперечитал почти всю школьную библиотеку. Писал стихи в альбом своих одноклассников. И эта его любовь к книге, чтению осталась у него на всю жизнь.

Школу он окончил весной 1913 года с выше-средним успехом и осенью т.г. по экзамену при Великокняжеском реальном училище получил звание народного учителя. С осени т.г. состоял учителем Атаманского приходского училища Денисовской станицы.

В 1916 году он поступил в Новочеркасское военное училище юнкером в каковом качестве принимал участие в Ростовских боях против большевиков под руководством ген. А. М. Каледина. Весной 1918 года был произведен в первый офицерский чин. Затем в годы казачье-калмыцкой антибольшевицкой войны принимал непрерывное участие в этой войне, сначала в 76-м Донском полку, а затем в рядах родного калмыцкого Зюнгарского полка, в качестве полевого адъютанта полка.

После провала антибольшевицкой борьбы в 1920 году С. Б. Балыков эмигрировал в Турцию. В Турции два года служил в обозе английской оккупационной армии форманом и научился английскому языку. Когда англичане оставили Турцию с приходом Кемаль-паши к власти С. Балыков выехал в Болгарию и потом во Францию. Здесь он работал на фабрике простым рабочим. Здесь он женился 4 октября 24 года на Дорджиме Бадминовне Шавелькиной, дочери коннозаводчика Бадьмы Адучовича Шавелькина.

В 1926 году по просьбе и хлопотам Б. Н. Уланова, председателя Калмыцкой Комиссии Культурных Работников в Чехословакии, переселился в Прагу, где стал одним из активных членов этой организации. В Праге окончил Школу Политических Наук и журналистику. Был членом калмыцкой национальной организации «Хальмак Тангачин Тук» и ее секретарем. Соредактором калмыцкого журнала «Ковыльные Волны».

Писательский зуд в нем начался рано, еще на школьной скамье. В годы военных походов в его походном

багаже накопилась целая кипа рукописей, которая, к сожалению, при эвакуации вся погибла.

Он умер 9-го января 1943 года в Братиславе (Чехословакия) оставив после себя значительное количество рукописей, частью печатавшихся в разных изданиях, частью нигде неизданных. В числе последних — рукопись романа из калмыцкой жизни «Девичья честь».

Действия рассказов С. Балыкова происходят непосредственно в предреволюционные годы т. е. примерно в период 1914—1920 годов. В них описывается быт калмыцкой жизни, обычаи и традиции калмыцкие, пережитое и перенесенное калмыками в годы революции. Ни в одном своем произведении он ничего не выдумывает, а просто фотографирует события, происходившие в калмыцкой степи, не сгущая краски, не преувеличивая их значения.

Ш. БАЛИНОВ

СИЛЬНЕЕ ВЛАСТИ

Когда ночь воровски накроет спящую землю толстым слоем сыпучего снега и тихим, ясным, морозным утром подымется солнышко, красотой величественной сверкает степь! Бескрайной белой парчей, горя на солнце мириадами искрящихся снежинок, расстилается она перед вами, сливаясь вдали с серо-голубым небом. Оцепенев, молчит холодный простор, сверкая немой красотой . . .

Любит в такое утро старый Бамбур-нойон оседлать рыжего Арандзала и выехать в степь один, без собак, без соколов и слуг. На боку — лук. Колчан, полный стрел — за плечами. Увесистая плеть — в руке. Он любит сам выследить зверя, вихревым бегом коня догнать его и метким ударом плети сшибить, или высоко поднявшуюся птицу снять меткой стрелой.

Белым паром в радуге вьётся мороз вокруг морды коня, ледяными иглами колется в редкие усы Бамбур-нойона, но волчья шуба его греет, как утроба матери. Распахнул старый нойон давящую шубу, сквозь тонкий, розовый стеганый кафтан ощущая свежее дыхание степи. Вокруг, насколько хватает глаз, ни души.

Вздохнул всей грудью Бамбур-нойон и взглянул на небо: высоко, высоко, в поднебесьи, маленькой черной лодочкой кружился над ним степной коршун.

— Не достать! . . . высоко-о! — подумал старый нойон, слезая с коня. Снял он с пояса лук, наложил дальнелётную стрелу и опустился на одно колено. Откинувшись назад, изо всей силы натянув тетиву, сплетенную из вычесок девичьих волос, старик стал целиться. Невидимые молнии прищуренных глаз сковали птицу на миг в одном месте, скрипнули оскаленные желтовато-белые зубы, и коротко и нежно свистнула пущенная стрела.

Бамбур-нойон не вставая, следил за птицей. «Раз, два, три, четыре» — успел мысленно сосчитать старик, и затрепетала, вдруг, птица в вышине, перевернулась раз и, накреняясь, пошла вниз. Огнем удовольствия заискрились глаза старого охотника. Но птица скоро

оправилась, выровняла крылья и, как будто ничего не случилось, стала снова забирать вверх, погружаясь в серо-голубую муть.

— Чуть зацепил, значит старею, нет уж былой меткости в глазах и крепости в руках, — грустно подумал старик, снова садясь на коня.

Сухой, чистейший снег, на целую четверть покрывший землю, легкими брызгами пылится под ногами коня и радугой короткой играет на солнце. Любо по такой степи пустить коня широким шагом и, мурлыча в нос песню о воле степной, ехать — куда глаза глядят.

Не проехал и пятидесяти локтей Бамбур-нойон, как увидел на снегу алую каплю крови, точно рубин, сброшенный богами с неба на украшение белоснежного, бархатного покрывала земли. Сочетание сверкающей белизны и свежей алой крови так понравилось старику, что он, придержав коня, долго любовался. Наконец, он тихо промолвил:

— Ху, как это красиво! . . . Если бы увидеть женщину с такой белой кожей, как этот снег и щеками алыми, как эта капля крови! . . .

*

Там и сям, в затишье камышевых зарослей устья Волги, притаился большой нойонский хотон. Дымятся покрытые снегом, белые кибитки. Несмотря на тугой мороз, по свежепротоптанным стежкам между кибитками, бегают дети в белых нагольных шубах и ушастых меховых шапках; лают и катаются на снегу собаки.

Нойонская кибитка в хотоне самая большая, из двенадцати колен она сложена, двойной полстью обшита, волчьими шкурами внутри устлана. Трещит сухой камыш под таганком. На нем клокочет котел.

После бродящей верховой прогулки, возвращается в свою ставку Бамбур-нойон. Подъезжая к своей кибитке, уж издали чует старый степняк аппетитный запах сытой варящейся баранины. Отдав коня выбежавшему из людской конюху, бодрыми шагами направился он в свою кибитку.

Только он хотел откинуть наружную полсть двери, как навстречу ему, растворив внутреннюю дверь, выпорхнула его невестка — жена младшого сына Данзана — восемнадцатилетняя Сяхиндя. Машинально бросил старик равнодушный взгляд на невестку и, ахнув про себя, застыл на месте в немом восторге: снежной белизной светилось ее лицо, нежной алой кровью горели пухленькие щеки, а глаза, как незамерзший родник в снегу, сияли черным огнем, и стройный ряд мелких белопенных зубов сверкнули смущенной улыбкой меж тонких, румяных губ. Сяхиндя была мала ростом, но тонка и стройна, как молодой горный тавалжан.

— Уж год скоро, как взяли мы Сяхиндя в дом, а до сего момента я не замечал ее красоты. Снег и кровь коршуна на нем — ничто в сравнении с этой живой, огневой красотой, — думал он уже в кибитке, скидая с плеч волчью шубу. В остывающем сердце старика неожиданно затеплилась искра восхищения женской красотой. Так иногда, из под кучи остывшей золы на очаге, начинает дымить притаившийся где-то и не потухший огонек.

Не прошло с того дня и недели, как Сяхиндя, со страхом и изумлением заметила, что старый нойон начинает явно выделять ее в семье. При обращении к ней глаза свекра горели большей лаской, чем это полагается. Было страшно молодице от такой небычайной любви, но, порой, в глубоком тайнике своего сердца она ловила что-то приятное от того, что старого и патриархального степного властелина влечет к ней сила неудержимой любви. Мужа же своего, лихого наездника, силача и красавца Данзана, она любила всей силой первогодней любви и была ему верна.

Старалась Сяхиндя поменьше попадаться на глаза свекру. Видно было, что и пятидесятилетний старик борется с собой, чтобы скрыть свои чувства к невестке. Но любовь — что пал степной в сухое лето. Раз загоревшись, всепожирающим пламенем шириться он, пока не сожжет всё, или не дойдет до преграды несгораемой. Сильна власть свекра в калмыцкой семье. Помимо своей

воли, все чаще и чаще звал старый нойон младшую невестку для различных мелких услуг . . .

Ухаживанья Бамбур-нойона за Сяхиндя делались все настойчивее.

*

После долгой зимы расцвела степь. Пестрым пахучим ковром покрылась она. Табунами калмыцких лошадей, гуртами скота, тысячными отарами овец и верблюдами, вернувшимися из камышевых зарослей и травянистых займищ Волги, Кумы, Кубани и Маныча, заполнилась степь.

Полилась весенняя рака, забродил крепкий кумыс. Все улыбается и цветет весной ярким цветом в степи. Купаясь в солнечных лучах, льет песни неумолчный жаворонок. Звенит и гладит душу песня молодицы у воды; вторит ей издалека молодой табунщик в степи.

Неудержимым потоком рвется любовь Бамбур-нойона к красавице Сяхиндя. Все забыл старик, на все махнул рукой. Отеческие обязанности к невестке и сыну, старинные национальные традиции, крепкие степные обычаи — все попрала поздняя любовь. «Закрыв уши от слухов ползучих, зажмурив глаза от взоров укоризненных, одному только отдался старик — добиться любви Сяхиндя.

В белом шелковом халате, на разостланном перед кибиткой ковре, лежал, греясь на солнце, Бамбур-нойон, когда легкая и стройная, как степная серна, змеясь тонкой талией, прошла мимо него Сяхиндя, направляясь в свою кибитку. Глубоко вздохнул вслед ей старый нойон, сильнее задымил трубкой черного дерева и, спустя некоторое время, встал и пошел за ней.

Звездой восточной сияя красотой, сверкая в зеркале полуоткрытой грудью и обнаженными руками, в легком зеленом цегдике поверх белой сорочки, собиралась она расчесывать волосы, распустив их двумя волнистыми, длинными, блестящими черными пучками, когда неожиданно вошел в ее кибитку свекор.

Побледнела Сяхиндя от такого нарушения правил приличия и поспешила накрыть голову расшитым золотом бархатным джатаком, говоря:

— Я причесываюсь, отец; вам нельзя сюда!...

— Сяхиндя, деточка чудная, ты можешь не накрывать голову, — заговорил Бамбур, перебивая ее.

— Что говорите? Где такой закон, чтобы невестка показывала свекру непокрытую голову и причесывалась при нем? — отвечала Сяхиндя.

— Деточка, законы и обычаи создаются ханами и нойонами, они же могут их нарушать и изменять...

— Ошибаетесь, отец. Ханы и нойоны меняются, умирают, а законы и обычаи народа вечны, они сильнее власти; обычаи народа умирают только с народом, — вся вспыхнув, заговорила молодица.

— Деточка моя, ты прекрасна... тебе бы миром править... я потерял покой, я мучаюсь. Полюби меня, всю степь приведу к твоим ногам, все препятствия устраню, — душась словами, заговорил Бамбур-нойон, приближаясь к невестке.

— Не говорите так, отец! Грех мне резко вам отвечать, но... вы — первый хранитель наших законов — взяли в голову безумные мысли. Не позорьте ваш род. Возьмите в руки ваше сердце. Вы — первый муж в степи — поддаетесь шалости маленького, с серого воробушка, сердца!? Помните, когда глава народа роняет обычаи вековые, то и народ перестает их чтить. Откуда у вас такие греховные мысли, куда девался ваш просторный ум!?

Распахиваясь, скрипнула, вдруг, дверь. С горящими, как у затравленного волка глазами, ворвался в кибитку Данзан. В кибитке настала тугая тишина.

Потухнув взором, старческой походкой вышел из кибитки отец, съеживаясь под буравящим взглядом сына.

В степи начинался великий раздор.

МАТЬ

Табунщик Бальджир был заядлый охотник, не знавший ни отдыху, ни сроку. И зимой, и летом, во все времена года, он вечно что-то выслеживал, за чем-то гонялся, стрелял, травил, ловил. Ехал ли в ночное дежурство при табуне в степь, возвращался ли в знойный день домой из табуна, его маленькие щелистые глаза неизменно щупали каждый куст в степи, каждую заросль камыша и чакана в пруду. Без старого шомпольного ружья за плечами и без двух тонконогих черных собак редко можно было его увидеть.

Был конец жаркого сухого лета. Наш хотон из двух десятков кибиток, стоял недалеко от Маныча. Начиналось время перелетов птиц. Целые тучи их делали кратковременный перевал в наших степях, а водяные птицы черными точками усеивали поверхность манычских заливных лугов.

Бальджир пропадал целыми днями и возвращался с добычей.

Однажды он подстрелил каку-то диковинную птицу. Это была большая белая птица, с густым, нежным и сверкающим опереньем. Ножки ее были коротенькие, черные, с перепонками меж пальцев, и клюв имел длинный-предлинный, который заканчивался кружком, величиной с медный пятак.

Птицей заинтересовались. Собрались старики, начались всякие догадки и споры о породе этой птицы. Наконец, старик Цебек — большой сказочник и фантазер — ударил себя по лбу и громко воскликнув:

— Смотрите, мужи! . . . Ведь это . . . «утка бессмертья!» Да, да, это — она . . . Именно такою она описывается во всех сказках и легендах! . . . Множеству богов наше благодарение, великое счастье нам — кто съест хоть кусок мяса этой утки, тот вечно будет жить! . . .

«Многознающему старику», как звали Цебека в нашем хотоне, никто не возразил; все как-то притихли, оглушенные величием момента.

Бальджир, владелец чудодейственной утки, аж побледнел; как-то поспешно взял в руки свою дичь, при-

казав жене разводить огонь и греть воду, сам принялся наскоро щипать утку.

Выщипав утку и подпаливая на пламени пух, он угрюмо проговорил:

— Конечно, всем не хватит. Семья у меня большая — я с женой, трое детей, да пять душ в семье брата в станице . . .

— Ну, как же ты думаешь, Бальджир: неужели всю утку своей семьей и скушаешь, на нас глядя? . . . Тут неважно наедаться, а достаточно и маленького кусочка, хотя бы с лесной орех величиной, чтобы стать бессмертным . . . Как хочешь, я то уж умею право на кусок, потому что я угадал, — проговорил старик Цебек.

Тут и другие соседи вступились. Весть, что Бальджир поймал утку бессмертия, мигом облетела соседей. Скоро в кибитку Бальджира собрался весь хотон. Напор соседей, желающих стать бессмертными, был настолько велик и настолько убедительно каждый доказывал свои добрые отношения с семьей Бальджира, что супруги уже отказались от мысли посылать чудодейственную утятину семье брата в станицу и сами согласились на кусочки с орех, чтобы возможно большое число душ сделать бессмертными.

Но и такая жертвенность супругов не спасла положение. Мяса все равно всем не хватило. Волей-неволей, одних пришлось облагодетельствовать «вечной жизнью», а других обидеть, обрекая их на неизбежную смерть.

То было у нас памятное событие. Было от чего нашему хотону шуметь и волноваться! . . .

*

В тот памятный день, как на грех, нашей матери не было дома. Она с утра поехала верхом в соседний хотон, чтобы навестить свою двоюродную сестру. Отец же наш был табунщик, а потому в хотоне бывал редко, да и то приезжал только на ночлег. Дома нас было трое детей: старшая сестра, уже просватанная барышня, я, мальчик пяти, кажись, лет и Дорджи, ребенок, который только начал говорить. Старший брат, ездок, был где-то в городе на скачках с хозяйскими лошадьми.

Когда делили «утку бессмертья», ясно, что нам ничего не досталось. Сестре, как девице, нельзя было слишком смело соваться в многолюдное общество. Дорджи к вопросам вечной жизни был еще равнодушен. Я же напрасно крутился вокруг хозяйки, жены Бальджира, подкашливал громко и словечко иногда вставлял, чтобы обратить на себя внимание, но все было напрасно. Меня не замечали. Кибитка была полна возбужденными людьми, для которых буквально шел вопрос — быть обыкновенным смертным или стать бессмертным. Понятно, что о нас, о чужих детях, никто не позаботился.

Унылые и обиженные мы вернулись домой. К вечеру, когда солнце склонилось к горизонту, вернулась наша мать. Конечно, мы наперебой рассказали ей о великом событии в хотоне. Наше сообщение громом поразило ее. Помню как она с лица изменилась и тихо прошептала:

— О боги, боги . . . ели мясо «утки бессмертья», а моим детям не досталось, ни одному . . . Это нечистый меня толкнул на поездку . . .

Надо сказать, что мать моя в хотоне была влиятельной женщиной. Кажется мне, что она была в нашем хотоне умной и энергичной женщиной, если вспомнить, что к ней за советами приходили не только все хотонные бабы, но иногда и мужчины в трудных случаях. А отец наш всегда делал только то, что прикажет мама.

Приведя себя в порядок, моя мать, взяв меня за руку, пошла в кибитку Бальджира . . .

— Пришла я поблагодарить тебя, Бальджир, и тебя Каляш (жена Бальджира) за то, что раздавали всему хотону бессмертие, и моих детей не обошли, — саркастическим тоном начала моя мать, войдя в кибитку Бальджира . . .

— Пожалуйста простите нас Ниме (так звали мою мать), было столько народу, все так приступили к горлу, что мы и сами едва достали по кусочку, — начал оправдываться Бальджир.

— Да не оправдывайся ты! Когда в позапрошлое лето твои дети были без молока, кто тебе из соседей

пригнал двух коров на целый дойный сезон — от весны до осени? . . . У кого вы одалживаете всегда коня на поездку, кто вам позычает деньги, кто вас, кроме меня, поддерживает в нужде? . . . А теперь вам представился единственный случай, когда могли меня осчастливить, вы позабыли о моих детях!?

Дальше голос матери оборвался и она умолкла, утирая катящиеся слезы.

— Ну, пусть будет так . . . даже в день Святого Праздника нога моя не переступит порог твоей кибитки! — обиженно проговорила моя мать, направляясь к двери.

— Да нет, постойте Ниме . . . вы, действительно, всегда были к нам, как родная, мы не можем обижать вас, — заговорил Бальджир и, обращаясь к жене, решительно сказал: — Ты, отмыкай сундук, да отдай Ниме тот кусочек мяса, что припасла для будущего ребенка! . . . Хватит нам и трех бессмертных детей.

Жена Бальджира с явной неохотной открыла сундук и молчаливо протянула моей матери кусочек мяса величиной с орех.

Тут уж моя мать была растрогана такой жертвенностью супругов и горячо благодарила их. Радостные пошли мы с матерью домой.

— Ну, дети, идите сюда! . . . Да будет над нами милость высших, да здраствует Бальджир с детьми — удалось мне, таки, достать кусок утятины бессмертия — радостно говорила мама, собираясь делить и без того крохотный кусочек мяса.

— Что вы делаете! . . . Этот ж кусок только для одного! Разделите его еще на мелкие куски, так он не будет иметь действия, — заметила моя сестра.

— Да что ты говоришь, глупая девочка, кто тебе это говорил? — испугалась мать.

— Слышала я, как старик Цебек говорил днем, что на одного человека нужен кусок с орех. Значит, меньше нельзя! — отвечала сестра.

— Пойди позови старика Цебека. Скажи, что мама приглашает на чашечку раки, что из гостей привезла.

Старик не заставил себя ждать.

Налив ему полную чашку раки, мать навела разговор на вечную утятину и прямо спросила — можно ли порцию мяса с орех величиной разделить на четыре пять частей?

Подумав, старик Цебек ответил, что во всех сказках и легендах не упоминается порции меньше ореха, а потому, чтобы зря не загубить драгоценное мясо, лучше такой кусок дальше не дробить.

Я помню, как изменилась в лице наша мать, какое огорчение и мучение выразилось на ее лице.

Когда старик ушел, долго сидела она, глубоко задумавшись. Важность происходящей у нее душевной борьбы, как будто, поняли и мы, дети, потому что мы все трое выжидательно молчали.

Хотелось, видимо, ей и самой стать бессмертной. Перед нею стояли трое ее детей: «Как быть и кому отдать предпочтение?» — вероятно, думала она.

Всех нас она без ума любила. И старший сын, ее первенец, был гордостью матери. С безобидным отцом моим она также жила много-много лет в тихом ладу. А кусок, несущий бессмертье был только один и для одного!

Трудная настала минута для нашей мамы, без сомнения верящей в чудодейственность этого кусочка мяса. То было давно. Люди тогда были простые, верующие, суеверные, боящиеся и Бога и черта.

Долго сидела она в мучительном сомнении, но, наконец, проговорила:

— Иди сюда ты . . . ты в самой середке моего сердца, — и протянула мне уже суховатый кусок утиного мяса . . .

С «утки бессмертья» теперь, конечно, мне смешно. Тогдашнее население нашего хотона давно уже повымерло. Кажись, только я и остался в живых. Но как вспомню, как моя суеверная и наивная мать, в мучительном для нее выборе — кому быть вечно живым из нашей семьи — выбрала меня, и сейчас тепло становится на душе от той великой материнской любви, равной которой нет на земле.

АССАРАЕВ СОН

I.

«... а в калмыцкой орде смятение великое идет оттого, что после смерти старого хана Аюки, нойоны и тайши не знают, кому из них быть на престоле ханском. А каждый, кому хотитца стать ханом, к нашей помочи прибечь готов, и я Вашего Императорского Величества именем могу поставить в голову сих беспокойных кочевников того, на кого Вашему Императорскому Величеству указать угодно будет. Изо всех тяжущихся нойонов наиболее мягок, к нам больше доверчив и к спиртному приверженность имеет Дондук-Даши, и его в видах пользы Российской империи следует провести в ханы калмыцкие. А понеже оный Даши шансов меньше протчих имеет, то Вашему Императорскому Величеству верным из благодарности будет. К тому же, если малолетнего сына его в аманаты получить, то у Вашего Императорского Величества верноподданного и доверенного в добром послушании он будет, и как я повелю то так и учинит. А сына его возьму в аманаты хитростью, ибо для пользы отечественной, нехристя обмануть не грешно. А получив же его сына, обратно не выдам, ибо у калмыцкой орды од междоусобных неладов нету уж той силы, и ныне с астраханским гарнизоном всю степь пройти возможно. Как по сему делу Ваше Императорское Величество высочайше повелить соизволит, то так и учиню. Вашего Императорского Величества верноподданный, ген.-майор БЕСТУЖЕВ-РЮМИН. Крепость Астрахань.

*

«Славному нойону калмыцких родов Дондук-Даши от Его Императорского Величества Императора Всероссийского честь имею передать доброе пожелание. Его Императорскому Величеству зело приятно бы было знать, что во главе всех калмыцких родов, нойонов и тайшей, на престоле славного хана Аюки, оный же был другом России, оказался достойный нойон и наш друг Дондук-Даши. В знак милостивого к Вам благораспо-

ложения, Его Императорское Величество высочайше повелеть соизволило о посылке Вам боченка старого меду, ведра водки, три пуда сахару и десять чувалов пшеничной муки, каковые монаршие гостиницы при сем писании с майором Кольцовым и эскадроном солдат посылаю в Вашу ставку. В милостивом же попечении о том, чтобы не токмо Вы, но и Ваш наследник достойно над своим народом занимал ханский престол.

Его Императорское Величество оказывает Вам еще одну монаршую милость, а именно: во вверенной мне крепости Астрахани велено отвести лучший дом с лучшим же убранством, дабы в том доме, в холе и довольстве, проживал Ваш сын и наследник, обучаясь у разных царских людей наукам. Подробный же разговор о том, как Вам ханом стать, о протчих монарших к Вам милостях и как наследника Вашего с великим береженьем и почестями в Астрахань доставить, имею желание говорить лично и коль ежели Вам угодно будет, сообщите с оным майором Кольцовым о времени, когда могу прибыть к Вам в ставку. Готовый к услугам Комендант крепости Астрахани, ген.-майор БЕСТУЖЕВ-РЮМИН.

II.

Небрежно накинув на плечи широкий, черный шелковый бешмет, с золотым позументом по вороту, серебрянными щипчиками выдергивая волоски из редкой бородки, с блестящими от выпитого вина черными глазами, по калмыцки скрестив под собою ноги, на подушке из конских волос и расшитой наволочке из черной мягкой козьей кожи, в своей громадной белой нойонской кибитке сидел Дондок-Даши перед постелью, влево от очага.

Напротив, перед постелью, вправо от очага, на белоснежном стеганном ширдыке, с обеспокоенным лицом, сидела жена нойона, женщина средних лет, в нарядном голубом халате, с чисто и правильно сделанным пробором на черноволосой голове и с приятной смуглой наружностью.

Возле нее, прижавшись к ее плечу, стоял кругло-

лицый мальчик лет 6-7. На светлом детском личике его светились большие не по-детски внимательные, терново-черные глаза. Нежные черные волосы его были тщательно зачесаны назад и падали на плечи. Одет он был в белый атласный бешмет и подпоясан зеленым кушаком.

На самом почетном месте, против очага, на разостланном большом бухарском ковре, облокотясь на груду подушек в разноцветных атласных наволочках, сидела уже седоглавая, пожилая, крупного роста женщина, с энергичным взглядом в еще не потухших глазах, крупными чертами лица, в белом шелковом халате. Возбужденным голосом, едва сдерживая гнев, чеканя каждое слово она говорила:

— Что може быть постыднее того, когда мужчина дерзнет не по уму и достоинству? Что может быть печальнее того, когда у народа недостойный и непопулярный глава? Мой муж, Аюка-хан, был великий человек. Тебе ли, мягкосердному, без ума острого и глубокого, с твоею слабостью к напиткам, занимать его трон?! Нет! Только Дондок-Омбо уродился в своего деда, только у него орлиные крылья, львиное сердце и голова мудреца. Только его я и благословляю! А тебе Дондук-Даши, я, ханша Дарма-Бала, запрещаю искать трон при помощи русских. Не зови на помощь урусов, не верь им, они вероломцы, у них в глазах нет правды, и они так глубоко у них сидят. Если они тебе предлагают помощь и обдаривают, то значит есть в этом задняя мысль. Вот они хотят взять в аманаты твоего сына единственного, чтобы тебя в куклу в своих руках превратить. Это неслыханное дело! Калмыцкие ханы никому еще аманатов не давали! Это допускали ханы, мирзы и беки мелких и слабых народов. Горе тому хану, кто пойдет на этот позор первым из калмыцких ханов! Это говорю тебе я, Ханша Дарма-Бала. Со мной и великий Аюка считался. Не подумай, что народ забыл свою старую ханшу, без моего одобрения, он тебя не станет почитать. Скажу тебе в лицо — великий хан Аюка из всех владетельных нойонов тебя считал самым неудачным!...

Слушая ее резкие и хлесткие слова, Дондук-Даши то бледнел, то краснел, беспокойно ёрзал на своей козьей подушке и, бросив выщипывать бородку, нервно крутил свои тонкие длинные усы. Когда Дарма-Бала кончила говорить и, подозвав к себе мальчика, стала его молча ласкать, Дондук-Даши откашлялся и глухим голосом отвечал:

— Я имею право на трон по рождению. Разве я мужчина, недостойный управлять народом? Разве мой улус беднее иных улусов? Ваш любимец Дондок-Омбо тоже не подпирает ладонью небо . . . Зато у меня могучий покровитель — Белый хан московский, Бестыжий-Урумин — мой друг. Они хотят меня видеть на троне калмыцкого хана. Они меня поддержат. А вы, бабушка, живите себе в полное удовольствие, молитесь Богу, живите долго, но в дела ханства не вмешивайтесь теперь. Так лучше будет. Если вы умная женщина, то должны помнить старинное слово: «козья головка не для церемоний, а бабья — не для управленья». Через месяц Белый хан урусов ханскую шапку, саблю и дорогую шубу с почетными послами пришлет. А Бестыжий-Урумин конное и пешее войско при пушках приведет. Много водки и мяса будет. Весь народ напою и накормлю на моей тронной свадьбе. Скачки и борьбу с большими призами назначу. Из пушек орусы будут много раз палить, когда я на трон сяду. Великое будет торжество . . . Если меня признаете, вас выше лам, рядом с собою, на почетное место посажу, а потом и жалованье от Белого царя испрошу . . .

— И тени моей не будет на твоем пьянстве с орусами! . . . И не такого гостя, как твой Бестыжий-Урумин видывала я в моей кибитке! . . . Божественного белого царя Петра принимала у себя и за одним столом ела! . . . А ты сына родного закладываешь и народ в кабалу ведешь, зовя орусов решать дела нашего ханства. Да . . . посмотрим — удастся ли тебе это. Верно, увижу я, как богатырь Дондок-Омбо тебя, пьяного за ногу стащит с трона, перешагнет через тебя и место великого деда займет! . . . А тебя я не только за хана, но и за мужчину хорошего не считаю! . . . Да будет презренно твое

имя в веках!... — в гневе великом выкрикнула грозная старуха и, топнув ногою, твердым шагом вышла из кабитки...

В калмыцкой степи начиналась великая неурядица. Нойоны заметались от одного претендента к другому, зацвела интрига, строились и разрушались коалиции, и глухо роптала степная чернь.

Торжественное возведение русской властью на ханский престол Дондока-Даши успокоения не внесло. Решительный и толковый Дондок-Омбо, поощряемый советами влиятельной старой ханши Дарма-Балы, с двадцатью тысячами семей перешел границу России, расположился за Кубанью и, совместно с татарами и черкесами, начал грозить набегами. Российское правительство, оставив Дондок-Даши, завело с ним почтительные переговоры. Дондук-Даши без просыпу запил...

III.

В богато обставлениом доме, в довольстве и с добрым уходом содержится в Астраханской крепости аманат (заложник) калмыцкого хана Дондук-Даши, его единственный сын семилетний Асарай. Вкусная и сытная еда, много невиданных и диковинных игрушек — все есть у Ассарая. Но тих и грустен мальчик уже много месяцев. Хотя и способным оказался (быстро научился говорить по русски), но неохотно он учился грамоте. Ни к кому он не привыкал и дичился всех, только с бородатым солдатом, который его каждый день одевал, а по вечерам укладывал спать, Ассарай вступал наедине в разговоры. В тихом ворчаньи и в грубых руках старого солдата он чувствовал доброту и душевную мягкость.

Любимое занятие Ассарая — это влезть на крышу дома и, подперев щеки ладонями, часами глядеть на кусок степной дали, что виднелся на западе за крепостной стеной. А еще больше любил Ассарай спать. Как только наступали сумерки, он уже просился в постель, а по утрам, проснувшись, подолгу лежал, зажмурив глазки, и тогда на грубах его дрожала улыбка...

— И чивой ты это так любишь спать Асурай, ажнак исхудал ты весь чисто?! Как много игрушек у тебя, целый дом, двор, а харч какой добрый, а ты все на крыше сидишь, али в постели лежишь, — добродушно укорял Ассарая бородатый солдат, одевая его к завтраку.

— Спать хорошо. Когда спать, я не тут, а там-там . . . Табун большой вода в речка пьет . . . шумит так, а жеребенок задрал хвост так и бегает у вода . . . За речкой широкий ровный земля, а небо синее-синее, там, там — белая тучка. А там большой-большой хотон, а наш кибитка близка стоит, моя мама меня зовет, я бежал-бежал, а ноги на месте . . .

— Ты кажный раз эго видишь, когда спишь?

— Много-много раз, как глаза закрывал, так уже. . .

— Вон оно што. . . по дому значитца. . . плохо, сам знаю, — пробурчал под усы старый солдат, ведя за руку Ассарая, чтобы умыть и причесать его.

Прошел еще месяц-два, наступила зима, а исхудалый Ассарай уже лежал. Ни на что он не жаловался. Все молчал, закрыв глазки, а к пище едва дотрагивался. Присланный из Царицына немец-доктор ничего не мог определить, осмотрел, покачал головой и уехал. . .

В одно утро Ассарай не проснулся. Маленькое светлое личико его было, как восковое. Под заострившимся носиком в кривой улыбке застыли тонкие губки, оскаляя ряд мелких белоснежных зубчиков; неподвижные черные очи были полуоткрыты. Старый солдат потрогал его руки под мышку, и с тихим вздохом натянул на него одеяло. Потом он перекрестился над трупиком мальчика и вышел.

IV.

В большом хотоне — ханской ставке — великое беспокойство. Взвод конных солдат доставил из Астрахани труп ханского сына Ассарая, «отравленного» русскими. С быстротой летнего степного пожара разлилась по калмыцпой степи ненависть к русским, «отравившим» невинного мальчика. Смерть его, предосте-

регающим громом, поразила степь и лучше нойоновских призывов объединила она калмыков. Чтобы собственными глазами увидеть невероятное злодеяние русских, стеклась в ставку Дондук-Даши вся степная знать и именитые богатыри.

С пьяным плачем и воем валялся в бессильной злобе опустившийся, непризнанный народом, хан Дондук-Даши. Среди степной аристократии не было ныне человека, более презренного, чем он. Отвернулись от него и покровители русские, ибо за ним не было народа.

Большая ханская кибитка гудела нестройным гулом голосов. Но вдруг воцарилась тишина. Вошла Дарма-Вала. Ни с кем не здороваясь, она подошла к гробику и, точно спеша, заговорила:

— Нойоны, богатыри и калмыцкие мужи!... Вот перед вами тело безгрешного существа, вашего меньшего родовитого брата, замученного бессердечными орусами. А о чем вы думаете, в какую сторону бежит ваш ум? Вы должны твердо застегнуть в умах то, что судьба этого мальчика ожидает всех вас, славные нойоны и передовые мужи, если ваши нелады будете разрешать при помощи силы орусов. Отец им доверил единственного сына, а орусы вот что сделали!... Мужи! Судьба народа, это — дело ведущих мужей. Дондук-Даши положил начало великому злу. Теперь орусы не оставят нас в покое. Великие беды несут нам орусы! Надо спасаться самим, надо спасти народ, ибо мы, ведущие, привели народ сюда, должны и вывести. Готовьтесь к уходу обратно в Зюнгарию...

— Слушаем вас, аха-нойон-бава! — твердо и громко сказал нойон рода меркетов.

В кибитке настала тишина. Нойоны и степные наездники, сжав челюсти, тискали в руках головки кривых сабель...

КОВЫЛЬНЫЙ ШЕЛЕСТ

Азман — большеголовый, кривоногий десятилетний мальчик, с порыжелыми от солнца, давно нечесанными волосами, с черным от загара лицом, босиком идет — в степь, к едва видневшемуся вдалеке «Красному яру», под которым, на берегу степного пруда, должен был в это время быть его дедушка Джада, очередной пастух хотонного скота.

Мягкая, желтая, бараньей кожи сумочка — «дялинг» — с половинкой выпеченного в сковорде калмыцкого хлеба, с четырьмя большими кусками вареной конины, да большой бутылкой холодной раки, висит у него за плечом. Азман несет деду обед.

День был безветренный, жаркий, июньский. От хотона до Красного яра далеко, верст пять. Но Азман не лентяй, он мальчик послушный и деда старого любит.

Идет Азман, уличную частушку под нос мурлычет и головки цветов тонкой хворостинкой, как шашкой, по пути сбивает.

Дедушка Джада, действительно оказался у пруда. Внук издалека его увидел: воткнув палку в кротовую кучу, набросав на палку свой бешмет и, отвоевав этим у солнца коротенькую тень для головы, лежал он на земле, растянувшись во весь свой саженный рост.

Пестрое стадо коров лежало у самой воды; многие из них, по брюхо войдя в воду, стояли там, лениво отмахиваясь от насекомых хвостами. Природа застыла в полуденной дремоте. Неподвижный пруд стеклом горячим блестел на солнце.

— Ава!... Обед принес! — крикнул Азман, неслышно подходя к старику.

— Адь!... Вот малодчик, неси сюда, мой хороший, дай... — откликнулся дед, подымаяся и заслоняя ладонью глаз от солнца.

Азман отдал старику обед и, утирая рукавом лоснящееся потом лицо, весело говорил:

— Далеко было... боялся.

— Ну! разве ты не мужчина, кто же днем боится? Пойдем, искупаемся, а потом будем обедать, — ласко-

во говорил дед, направляясь к пруду.

Прежде чем зайти в воду, Джада предварительно зарыл бутылку с питьем глубоко в грязь. Азман, уморенный ходьбой по жаре, и дед, разморенный лежаньем на солнце, с наслаждением, долго купались, ныряя, плавая, плескаясь водой.

После купанья, одевшись, старик вытащил бутылку из грязи, бережно обмыл и, видимо, с большим удовольствием отпил. Потом дед и внук стали обедать. Азман, уже пообедавший дома, не отставал и тут от деда. Наевшись, дед лег отдохнуть.

— А ты, Азман, иди домой, — проговорил он.

— Я дедушка, останусь при вас; вечером вместе погоним стадо. . .

— Ладно, тогда ложись сюда, полежим, а потом поднимем скот и выгоним на попас, жара скоро начнет спадать, — сказал дед, давая место в тени и для головы внука.

Азман быстро задремал. Джада то и дело подымался и прикладывался к горлышку бутылки.

Носмотря на свои 75 лет, Джада был еще крепкий старик. Волосы на седой голове были еще густы и наполовину черны, целы были почти все зубы, глаза видели хорошо, чуток был слух. От силы его, гремевшей когда-то на всю окрестность, осталось еще сталько, что, когда его сын, сорокалетний здоровый мужчина, вздумал на Цагане побуянить, бить жену, Джада схватил одной рукой за шиворот, придавил головой к земле и держал до тех пор, пока сын не взмолился о пощаде. Только на старости лет Джада стал очень болтлив. Молодому, старому, ребенку-ли, женщине, мужчине, все равно, он находил что рассказать, особенно, когда был навеселе. Множество легенд, воспоминаний из своей молодости, сказок приходилось слышать от деда Азману.

— «Ты, Азман, будь в деда, в меня, а не в отца. Слабый мужчина твой отец, от матери покойной унаследовал. . . в его годах, я разве такой был. . .»

И начинал дед рассказывать внуку, каким он был в молодости.

Бутылка крепкой раки развязала язык ему и на этот раз. Не прошло и часа, как дед, разбудив внука, гнал стадо в степь.

*

Насытившись до отвала, коровы лениво бродили по степи, лакомясь только наиболее вкусными травами, или лежали, жуя жвачку. Гнать стадо в хотон было еще рано. Солнце было еще высоко, но жара уже ослабела. Легкой рябью волнуя море седого ковыля, дул теплый предвечерний ветерок.

Дед сидел лицом против ветра и, высоко подымая руку с торчащим указательным пальцем, расказывал внуку:

— Ты, Азман, не знаешь, какой я был хороший, лихой вор. Никогда я не брал лошадей ближе чем за сто верст... Я водил только из-за Дона, от Волги, от Кумы. И брал я не всякую лошадь, а только ту, что резвостью известна была на всю округу.

Избегал гнать из табунов в степи ... Думал: из табуна, со степи всякий дурак и трус может угнать. Любил брать из конюшни, из под крепких замков. Бывало, подъедешь темной ночью к экономии какого-нибудь богатого коннозаводчика, оставишь лошадь у своего коневода, скинешь сапоги, засучишь брюки, бешмет долой, стиснешь в одной руке плеть, в другой шворень от воза и пойдешь, как волк, крадучись под стенками базов и амбаров. Дойдешь до нужной конюшни, вложишь шворень в кольцо замка, даванешь — замок долой. Берешь в конюшне уздечку, взнуздаешь лучшего жеребца, если есть седло, то и оседлаешь, выведешь, сядешь, еще гикнешь нарочно и помчишься... За тобой крик, гам, выстрелы...

— А зачем же вы кричали, дед?

— А чтобы погнались за мной, чтобы стреляли по мне, тогда веселее на душе делалось...

— Ни разу вас не поймали?

— Нет... Меня не могли поймать. Да... было время... Прослышал я раз, что у таврических немцев хорошие кони водятся, заграничные, думаю: «надо достать». Взял с собой надежного коневода, своего дру-

га Нимбу, который тогда почти один умел хорошо по-русски говорить, и в один темный весенний вечер выехал. Ехали всю ночь и еще пол дня... Доехали до одного немецкого села. Немцы в это время были на пашне, в поле. Слез я с коня, приготовился, подобрал себя и, оставив Нимбу с нашими конями, пошел бродить по кошам. Долго выбирал. Все какие-то тяжелые попадались. Наконец, напал на пару хороших. Здоровые, шеи как у лебедя, гладкие. На шеи надеты цепочки, цепочки продеты в кольца в бричке и на замочек. Дело пустое, если бы был шворень, да на грех потеряли его в пути. Что тут делать? Думал, думал... Вынул я платок, завернул им цепь в одном месте, взял цепь в руки в этом месте и крутнул — одно звено в цепи лопнуло... Освободил я лошадей и повел. Хозяева, видимо, отец и сын, спят себе, недалеко от брички. В голове оружие — вилы, под хозяевами хорошая белая полость.

Отвел я лошадей Нимбу и говорю ему, что хозяева спят, не просыпаются, нет приключения, скучно так уводить лошадей... Взял я аркан, подошел опять к спящим, прорезал на уголке полсти дырочку, продел в нее аркан, повязал по калмыцки, потом подвел своего коня, сел на него, взял аркан под стремя и... «чу!» ... придавил коня. Конь мой рванулся с места; спящие посыпались, покатились на землю и, к ужасу их, полсть из под них взвилась белой птицей и скрылась в темноте... Поднялся крик, стали стрелять неизвестно куда и в кого, а нас и след простыл... Только кони эти тяжелые, ленивые оказались. Больше не брал немецких лошадей. Не годятся для калмыков...

— А зачем вы, дедушка, крали, бедно жили?

— Ху!... Бедно! До ста голов коров я имел, это твой отец сумел так обеднеть, что всего сорок штук осталось, да косяк лошадей у меня было. От скуки я крал! Некуда удаль молодецкую было девать! Что же мне было делать, как кражей не забавляться? Я был благородный вор: у близких никогда не брал, бедных щадил, даже помогал им. Зато мне почет и уважение от всех были...

— А почему все это?

— Дедушка, а теперь воруют?

— Теперь редко. Тесно стало... Только разве теперь воры?! Подлецы они да и только. Теперешние гоняют паршивую корову, быков, обижают соседей, стараются украсть у какого-нибудь бедняка, которому не на чем выехать поискать пропажу, у вдовы, у бездетных стариков, да все украденное стараются продать, чтобы в карты играть... Их выдают полиции, сажают в тюрьмы...Так им и надо, потому они не молодцы, а просто воры...

— Да... — после продолжительного молчания, уже спокойно, как будто с сожалением начал дед, — все идет на гибель, на вырождение. Конец всему скоро будет. Люди с каждым годом мельчают душой и телом, мельчает и скот, редеют травы, стали ниже выгонять рост, даже земля как будто стала сохнуть, сжиматься... Куда ни посмотришь, к чему ни прислушаешься, все слышно: «конец... конец»...

— Ты послушай, что шепчет ковыльный шелест, вот прислушайся! — сказал дед.

Внимательно, приложив ухо к земле, слушал Азман ковыльный шелест.

— Мне, дедушка, ничего не слышно, никто ничего не говорит...

— А! молод ты еще! Не открыто это тебе. Ты думаешь, по пустому ковыль в степи шелестит. Нет. Все в природе живущее и растущее говорит, имеет свой язык. И травы, деревья, и животные... «Конец идет русскому царству, русской земле» — говорит ковыльный шелест, — «Будет кровопролитная война. Смута великая будет. Брат будет убивать брата. Все друг друга будут резать. Огнем будет пожжено, солнцем высушено. Села будут пусты ... Голод настанет великий». Вот что шепчет седой ковыль.

— Дедушка, вы недавно говорили, что все это написано в предсказаниях Дживзен-Дамба Лама, а теперь говорите, что об этом ковыль вам шепчет.

Джада немного смутился, но, оправившись, буркнул:

— Да, и там это есть, и здесь я слышу.

— Да потому, что срок иноверцам пришел. Их пророк выпросил у Бога для своего народа две тысячи лет жизни, вот этот срок и приходит.

— Тогда как же быть нам, калмыкам?

— Наше дело, Азман, другое. До нашего срока еще далеко. Наш Будда выпросил для нас пять тысяч лет жизни. Но так как мы перемешались с русскими, то, возможно, и нас захватит беда. Но и этот случай предвидел Будда и установил для калмыков отличительный знак. . . Знаешь, какой?

— Нет.

— Ну, так вот смотри. . .

С этими словами дед снял с головы полинявшую казачью фуражку и ткнул пальцем в маленький красный махор на ней.

— Для чего, ты думаешь, я его ношу? А вот для того, чтобы, когда Боги будут пролетать над землей и посылать бедствия на инородцев, которым пришел срок, не захватили и нас, калмыков. Наш Будда тоже будет летать с этими Богами и, как только увидит красный махор на голове, то будет говорить: «минуй этого, ему еще жить». . .

— А если в это время калмык забудет дома шапку?

— Тогда конец ему!

— А если все иноверцы наденут шапку с красным махром?

— Молчи, дурак, много хочешь знать! — сердито крикнул дед на Азмана.

Долгая возбужденная речь утомила старика, а неуместные вопросы внука несколько задели.

Солнце за это время дошло до западной части неба и начинало незаметно сползать вниз. Прохлада оживила природу. Поднявшееся стадо, медленно пасясь, направлялось к хотону.

Дед и внук поднялись и пошли догонять стадо. Джада, опираясь одной рукой на палку, бодро шел по степной тропике. Азман то и дело подбегал к торчащим седым «катранам» и, как шашкой, рубил их головки своей хворостинкой.

— Вот... — думал дед, глядя на действия внука, — резвится мальчик, совсем несознательно это делает, а ведь и он своим действием говорит, предзнаменует, что скоро будет война...

Стадо уже доходило до хотона, дед и внук проходили пыльную проезжую дорогу, как зазвенели вдали бубенчики и показалась мчащаяся тройка с развевающимся красным флагом на древке. Вмиг тройка поравнялась с пастухом и скрылась в клубах густой пыли, мчась дальше к хотону.

Сняв фуражку, с широко разинутым ртом долго стоял дед, смотря вслед тройке с красным флагом, несущей известие о начавшейся войне.

«Началось», — прошептал он про себя и поспешно зашагал к хотону.

ПОБЕДА

От матери, первой в аймаке злоязычной скандалистки и отца, изворотливого конокрада, унаследовал Радни Балхаков дух беспокойный, мысли дерзкие и хлесткий язык. Вечная беднота в доме рано сростила его с завистью и злобой к живущим в достатке. А когда осенью 1917 года восемнадцетилетняго Радни, станичнаго стипендиата, за дурное поведение выгнали из 5-го класса реального училища, то революционный герой станицы Бокшурганской был уже готов.

Его завистливая, жадная и оскорбленная душа неудержимо потянулась к той темной и злобной массе, которая грабежом чужого добра, пожарами и кровью рвалась поправить свою Богом отпущенную горькую долю. Радни стал осатанелым большевиком, ушел из среды родного народа и пристал к русским мужикам.

Когда калмыцкий округ наводнили большевицкие банды и разбойными шайками расползлись по аймакам, ненасытным вампиром всосался в свою богатую станицу Радни Балхаков.

Шелестящими крупными бумажками, зерном и хлебом, баранами и бычками откупались станичные богачи от террора комиссара Балхакова. После многих и многих лет бедноты, полуголодного стола и рваной одежды, свалились на семью сытость и довольство из чужних дворов и сундуков. Целую зиму в праздничном изобилии жила семья Балхакова. Радни распутал все узлы. Растоптав народные традиции и мораль, заменил он их коммунистическими возгласами о грабеже; до оскорбления народных святынь и до отрицания Бога добрался обнаглевший малец. . .

*

До боли стиснув зубы, молчал Бокшурганов аймак. Тугими, нерастворяющимися комками, копила станица возмездие, чтобы при первой перемене ветра с корнем вырвать из честной среды крапивную заросль Балхаковых. . .

И повеял, наконец, долгожданный ветер. Темной

теплой майской ночью тихо зашушукались бокшурганцы. Бесшумными черными силуэтами, от двора ко двору, забегали человеческие фигуры. В землянках, с наглухо закрытыми и заложенными окнами, при свете прикрученных ламп, завозились мужчины, собирая разобранные седла. Тихо перешептываясь с женами, смазывали они заржавевшие в навозах палаши и затворы винтовок. . .

Чуть заалел восток и ранний жаворонок завел пробудную трель, а уж взметушилась вся станица. Красноармейский взвод, охрана революционного комитета, спящим был обезоружен, арестован и заперт в амбар. В теплых постелях были арестованы комиссары, связаны и согнаны к станичному правлению. На широкой рыси выехал из станици разъезд в сторону Дона, ища казаков, восставших против большевизма, и замаячили калмыцкие пикеты по окрестным курганам на холмах.

Так весной 1918 года пала кровавая, ненасытная и паразитическая власть мужиков над калмыками. Быстро и бесшумно расправилась станица с безповоротными сторонниками большевизма. Но не попался местный главарь большевиков — Радни Балхаков. Богомольная и сердобольная старушка-соседка спасла его молодую жизнь, еще с вечера предупредив о грозящей опасности. Когда десяток людей, с револьверами и винтовками, окружил землянку Балхакова, Радни был уже далеко от станицы и мчался в мужичий хутор, к своим большевикам. Оробевшие супруги Балхаковы невинными головами искупили грехи своего сына.

*

Застывающей лавой, изверженной из земного нутра, медленно, неохотно перекатываясь, поминутно щетинясь и обороняя награбленное добро, уходили мужичьи отряды с казачьей земли, где им так сытно, богато и привольно зимовалось.

Много месяцев, с тяжкими боями, гнали казаки большевиков к граням своей земли, теплой кровью орошая родную ширь. Два калмыцких полка, блистая славой боевой в строю донских полков, тоже щипали красных злодеев . . .

Но настали опять черные дни. Упругим канатом натянулся мужичий фронт, миллионами дешевых голов пополнился он из России и, вдруг, кровавым потоком накатился на казачьи силы. Печально опустели калмыцкие станицы на Дону весною 1919 года перед надвигающейся на них красной смертью.

Обозлённым зверем прискакал в свою станицу Радни Балхаков. Черные провалы окон и распахнутых дверей немыми очами смерти смотрели на него отовсюду. Широко разбросавшаяся, богатая и людная станица пустыми гнёздами улетевших птиц представилась ему. Только кучу золы, глины, щепок и извороченного старого камыша нашел он на месте своей землянки.

В кипящей злобе, упорно заходя в каждый дом, нашел он, наконец, одного больного старика, разоренного и осиротелого большевицкой революцией и не смогшего покинуть станицу. Со скрежетом зубовным набросился он на беззащитного сироту-старика. Голого, дрожащего на исхудалых ногах, толкая дулом маузера, выгнал он его за станицу и заставил рыть себе могилу.

— Сынок, зачем заставляешь рыть яму; не нужна мне яма, застрели и оставь лежать, пусть собаки и птицы поедят мое мясо, — брался увещевать старик своего палача.

— Рой-рой! . . . старый буржуй, хоть перед смертью потрудись! . . . Жаль, что станица пуста, а то я бы показал, как моих родителей убивать! . . . Ламу бы вашего собственными руками задушил, что богами народу голову морочил! — кричал в ответ Радни.

— Не греши, сынок. Тягайся с людьми, а Бога не трожь, — ворчал старик, трудясь над ямой.

— Молчать! . . . старый болван! . . . Какой тебе Бог?! Я победил всех твоих богов! Вон храм ваш, так пойду я туда, пойду и сделаю то, что люди делают в балке! . . .

— Не хвались сгоряча. Не допустят тебя силы верхние до этого. Даром тебе то не пройдет . . . Ну, сынок, яма готова, можешь стрелять, — спокойно сказал старик, укладываясь в мелкой яме головой на восток и тихо шепча молитву.

Солнце медленно погружалось на далеком степном горизонте. Пристрелив покорного участи старика, Радни поскакал в хурул и, привязав коня у дверей, вбежал в старый храм. Уже царил мрак в немом храме. Золоченные статуи Будды и Мядира в различных видах едва можно было различить напряженным зрением.

Как ни смело вошел сюда Радни, как ни пылало сердце огнем дерзания, а жуть охватила его, когда приблизился к главной статуе Будды, чтобы осквернить ее. Невольно вспомнилось ему, как часто в детстве приводила его сюда мать в престольные дни, и он, чистенький и причесанный, сложив ручонки, робко прикасался головой к подножью статуи. Огромный темный храм, полный невидимых священных статуй, давил его своей таинственной властью. Мертвая тишина безлюдной станицы и только что убитий старик напрягали его нервы.

Невольно утасши духом, направил он свой взор в ту точку, где должно быть чело статуи и онемел на месте... Глаза статуи светились зеленоватым огоньком и мигали. Вздрогнув от внезапного страха, хотел было повернуться Радни, чтобы выйти без кощунства, как разнесся по храму ужасный, не то человеческий, не то звериный крик...

—Ггг-а-а-ррр!... — послышалось ему.

— А-а-а-яй-яй-яй!... — по детски заревел в ответ Радни и в диком ужасе выбежал из храма. Испугавшись его крика, почти одновременно с ним, бесшумно вылетел из храма сыч. Не переставая безумно орать, вскочил Радни на коня и помчался в направлении слободы Мартыновки, где ночевал большевицкий конный отряд...

Через двое суток буйства, не приходя в себя, умер от белой горячки личный адъютант командира красноармейского конного отряда Радни Балхаков. До самой смерти, между звериными воплями, он кричал:

— Есть Бог!... Есть! Глаза зеленые, голос звериный!...

ОТЦЫ

Не легенду старины, а быль, свидетели которой еще живы, хочу я передать моим собратьям. Много кровавого, незабываемого пришлось испытать калмыкам в безобразных событиях русской революции. Среди сотни знакомых лиц, жертвой невинной павших в этих событиях, два лица чаще других вспоминаются мне.

Ранная весна 1918 года.

Первая половина апреля, когда отощавший за зиму табун жадно льнет к пахучей, вкусной, нежной зелени; а табунщики после зимней страды, выкочевав семьями в степь, наслаждаются отдыхом.

Но эта весна была особая, необычная. Хозяин табуна сбежал. Не было и старшего табунщика. Они скрывались. Табун не разбивали на косяки. По степи рыскали шайки верховых мародеров.

Невероятные слухи ходили про эти отряды. Наш маленький «хотон», расположенный в устьи глубокой балки, в котловине, вдали от проезжих дорог, долго был богоспасаем.

Но однажды, именно «в один прекрасный день», дошел черед и до нас. Нагрянул красногвардейский разъезд, человек десять, на великолепных конюшенных жеребцах — большинство со знакомыми нам таврами, — увешанные оружием.

Для восьми кибиток, затерянных среди степного простора, при полном отсутствии у нас чего-либо огнестрельного, при отсутствии в этот час взрослых мужчин, как раз далеко от хотона поивших табун, сила эта была непреодолимая.

Подтверждая все ходившие про них слухи, красногвардейцы начали безчинствовать. Под ударами прикладов трещали сундуки, шкафы, божницы. Все ценное, заветное забиралось. Более или менее миловидные калмычки насиловались на виду у всех . . .

У подростков калмыков горела кровь, кружились головы от злобы. До боли стискивали зубы, чтобы молчать. Но молчать удавалось не всем.

Пятнадцатилетного Бембика «за разговоры» повели на расстрел.

Мать, бросившаяся на помощь, толчком приклада в грудь была отброшена и упала без чувств. Как раз в эту пору подъехал отец Бембика — Баклан Шальнинов, высокий, сутулый, тихий и смирный калмык 37-8 лет.

Увидев сына под дулами винтовок, Баклан снял шапку и бросился к ногам красноармейцев, прося пощады сыну.

— Ага! . . . Ты отец его? Хочешь, чтобы его простили? . . . Ты любишь его? . . .

— Больше всего на свете, товарищ, брат! — бормотал Баклан в ответ.

— А сам станешь на его место? . . . Станешь, тебя растреляю, а сына отпущу . . . согласен? — полусерьезно, полунасмешливо спрашивал солдат.

Только на минуту задумался Баклан, откинул назад нависшую на лоб прядь черных волос и, умоляюще глядя на красноармейца, спросил:

— Ты не обманешь, брат? . . .

— Нет не обману!

— Богу помолиться можно?

— Молись, чорт с тобой с твоими идолами! . . .

Медленно вынул Баклан из кармана большой пестрый платок, подпоясался им, вошел в кибитку, всполоснул водою рот и руки, подошел к божнице. Трижды земно поклонился, приложился головой к медной статуе Будды и, повернувшись к ожидавшему его солдату, с виноватой улыбкой проговорил:

— Я готов.

— Выходи! . . .

Баклан глубоко вздохнул, окинул прощальным взором внутренность кибитки, посмотрел на лежавшую без чувства свою жену. Не спеша, вышел. Подошел к дрожавшему в страхе сыну, поцеловал его в обе щеки. Срывающимся, тихим голосом сказал: «иди к матери». Повернулся лицом к красноармейцам.

Два выстрела, раздавшиеся одновременно, уложили его наповал.

Так, не в бою, под бодрящее «ура» многих сорат-

ников, без кровь согревающего соревнования с ними, без одобрения и примера командира, в полном одиночестве, окруженный беспощадными врагами, тихо и без колебания совершил свой подвиг Баклан, смертью купив жизнь сыну.

Из другой кибитки вывели на расстрел семнадцатилетнего Хани за то, что он «уже большой».

Отец его, Бальджи Меньгинов, маленького роста, до отказа кривоногий, с большими, на выкат, заячьими глазами; горбоносый, с копной седых волос на голове, старик лет за пятьдесять, больной лежал в кибитке.

Видя, что ведут его сына на смерть, он в одном белье выскочил за красноармейцами и предложил себя взамен.

Один из красноармейцев заинтересовался такой комбинацией, но другой заставил Бальджи открыть рот, взглянул на зубы, решил:

— Стар ты, кунак, сам скоро сдохнешь, не стоишь сына!

Жертва не была принята. Сына расстреляли.

Так в глуши степей Задонских совершилось одно из нечеловеческих злодеяний большевиков над ни в чем неповиниым нашим народом и редкая жертва любви родительской.

ОТ МАТЕРИ

Знать комар меня укусил: ударил я, в полусне, по носу и проснулся. Открыл глаза... смотрю... В кибитке уже темно, тихо: в верхнее отверстие ее, с высокого темного неба частые звезды мигают; слабо мерцая, распространяя запах горелого масла, потухает лампадка перед божницей. На нашей широкой деревянной кровати, спиной ко мне, спит мать; за мной, повыше моей головы, на двух подушках, тихо посапливая, спит сестренка в пеленках. Тишина в природе, только какая корова кашлянет иногда, да собака где то лениво гавкнет и опять все тихо.

«...Когда же это я лег... как заснул..., что я ел перед сном»... начал я лениво думать, потирая нос.

— «Э! ведь я еще засветло лег, в сумерках, когда мать еще доила коров... а чаю с горячими борциками, значит, не пил; значит, я голоден, меня не разбудили, не накормили», — мелькнуло у меня в голове и я уже рассердился.

— «Ничего, я могу и сейчас скушать борцык, да и чаю мама может согреть».

— Мама, а, мама! Проснитесь, дайте мне борцык и чаю, я хочу есть, — начал я плаксиво, тормоша мать.

— Что ты?! Кто же ночью пьет чай? Не умрешь до утра, вечером тебя будила, ты отказался, говорил, что сыт, спать хочешь, а теперь уже за полночь, теперь нужно спать, деточка. Спи, сыночек, во сне тебе добрая белая мышка на серебрянном блюдечке чай принесет. Спи, не хнычь, — заговорила мать,укрывая меня одеялом.

— Не хочу я спать! Не усну! Дай чаю...ааа! — заревел я на всю кибитку.

— Замолчи, дурень, сестренку разбудишь! И какой же ты скверный мальчик, ну во всем хотоне нет мальчишки хуже тебя. Ну-ка, замолчи, я тебе что-то скажу...

— Чаю дашь...

— Послушай, Сармуш, когда ты был маленький, вот как сестренка, ты был такой плакун, что не сыс-

кать, а теперь ты уже большой, тебе скоро пять лет будет и как тебе не стыдно капризничать, будить ночью маму, плакать... — начала полусердито укорять меня мама.

Укоры эти на меня подействовали, но никак я не могу сразу перестать плакать и, все еще всхлипывая, сказал:

— Не пра-а-ав... да... Ты не правду говоришь... Я не был плакун, когда был маленьким.

— Да, неправда! Ты послушай, как из-за твоего каприза, крика, меня бешеная собака чуть не разорвала, — заговорила мать, видимо, обрадованная случаю занять отвлечь меня от моей мысли о чае с борцыком.

— Расскажи, — проговорил я, глубоко вздыхая.

— Было тебе тогда около года и такой ты был плакун, что не рассказать; иногда прямо-таки хотелось выбросить тебя за дверь собакам... Однажды летним днем, так приблизительно в обед, когда в хотоне нашем не было мужчин, а бабы все почти спали в тени кибиток, прибежала какая-то незнакомая черная собака с опущенным хвостом, с горящими красными глазами, с пеной у рта и начал рвать телят, гоняться за собаками. Все большие собаки нашего хотона вмиг куда-то поисчезли, только глупые щенята попадались ей, которых она ловила, душила и разрывала на клочья. Все в хотоне поняли, что собака бешеная и потому всполошились, вмиг скрылись по кибиткам и позакрывали двери на оба засова...

— А ты, мама?

— Ну и я тоже... Ты, сынок, только что выкупанный в холодной воде, досыта накормленный, спал на левой кровати. В щелку кибитки я начала следить за собакой. А она, погнавшись за одной нашей курицей, наткнулась на твоего маленького, беленького щенка, которого я не успела зазвать в кибитку, и тут же возле кибитки, как раз против твоей постели, начала его душить.

Щенок завизжал; от его визга проснулся ты и, по обыкновению, начал во все горло плакать. Я пыталась

тебя укачать, давала грудь, но ты плакал все сильнее и громче.

Бешеная собака сперва прислушалась к твоему голосу, потом принялась рваться в кибитку... — Притаясь, стараясь не дышать, слушал я мать. Дремотный летний день, бешеная собака в маленьком, затерянном среди степи, хотоне, моя мать с плачущим ребенком — так ярко пронеслось в моем мозгу, что я притих и невольно прижался к матери.

Она, между тем, продолжала:

— В одну минуту собака изорвала наружную полость и, просунув морду в отверстие кибиточной решетки — «терме» — пыталась проникнуть внутрь, чтобы добраться до нас с тобой. Я не знала что делать, только, призывая на помощь Бога, без конца повторяя «Дярке, дярке!» — бегала по кибитке. Вдруг пришла мне в голову мысль: спрятать тебя под большой котел. Живо положила на землю, притащила большой котел для кумыса и опрокинула его над тобой, а чтобы ты не задохнулся, подложила под краюшек щепочку. Ты все продолжала орать и под котлом.

А собака в это время уже прорвала две петли в решетке и, просунув всю голову, старалась ворваться в кибитку. Весь хотон словно вымер, все заперлись и сидели в страхе, а мужчин все не было; они возились при табуне, в степи; помощи ждать было неоткуда.

Видя, что через минуту собака начнет меня рвать, я бросилась на колени перед божницей и стала громко молиться. Стоило собаке прорвать еще одну петлю в решетке и она бы уже была в кибитке.

Помолившись, плача стала прикладываться головой к статуе Будды и вдруг я увидела на сундуке рядом с божницей большие ножницы для стрижки овец. Тут озарила меня мысль: «Что же я, дура, плачу... нужно вооружиться этими ножницами и повыколоть собаке глаза, пока она еще не свободна и не может броситься на меня, это Бог мне указывает»...

Взяла я ножницы и, не переставая шептать молитву, стала подходить к собака.

Она рвалась изо всех сил и, уже просунув одну

ногу, вот-вот готова была ворваться в кибитку. Она хрипела, рычала, оскаляя зубы, брызгалась слюной.

Я стиснула зубы и дрожащей рукой ткула острием ножниц в глаза собаке. Она хрипло взвизгнула, из глаза брызнула кровь, но все же продолжала рваться вперед.

Я обошла собаку и, подойдя с другого боку, ширнула в другой глаз. Тут она начала уже рваться назад, но не могла вырваться; голова почему-то не проходила обратно. Тогда выбежала я из кибитки и стала кричать и звать на помощь соседок. Две-три из них прибежали на мой зов и мы общими силами убили собаку коромыслами, колом и топором.

Когда я подняла котел и взяла тебя, ты был весь синий и едва дышал: так сильно ты плакал...

Во все время рассказа я лежал, не шевелясь, сжав кулаки и стиснув зубы. Когда мать кончила, я сдавленным шепотом прошептал:

— Мама! Я теперь не буду плакать.

— Вот видишь, не надо ночью плакать, бешеные собаки всегда идут на плачь детей — говорила она, прижимая меня к себе и гладя по головке.

— Мама, а ты же всегда мне говоришь, что нельзя убивать ни мышь, ни ежа, ни птенчиков, никого — все живое, нельзя убивать, а сама убила собаку...

— Нет, сынок... эта собака была бешеная, она хотела и меня и тебя разорвать, как же ее не убивать?

— Бешеную собаку убивать можно?

— Да.

— А ядовитую змею?

— Можно.

— А человека, который хочет тебя бить?

— Человека?.. Ну, спи, спи, деточка, довольно.

— Скажи, а человека?

— Если человек хочет тебя бить, нужно бежать к маме.

— А если он догонит и поймает?

— Ну, тогда защищайся!

— Ага, надо защищаться...

«Чрик! чрик! чрик!» — трещал где-то ночной кузнечик.

«И где он чирикает, днем никак его не найдешь», — думал я, но глаза мои слипались и туман обволакивал мысль. . .

ЧЕТЫРЕ ВСТРЕЧИ

I.

В станице Батлаевской было освящение нового храма — «семе». Этот храм стал самым лучшим из храмов всех калмыцких станиц. Весь карпичный, высокий, просторный и красивый, гордо возвышался он над небольшой станицей.

Освящение храма привлекло калмыков со всех тринадцати станиц. Хурульное духовенство, под руководством самого Ламы донских калмыков, служило торжественный молебен.

Однообразно, монотонно басили гелюны, тоненькими и резкими голосами вторили манджики, сверкая на солнце бритыми головами. Мощно и своебразно, красиво для слуха калмыков, пел бюре-бишкар, заливалась флейта-дунг, гремели ценг — медные тарелки . . .

Вокруг духовенства тесно сидят тысячи пестро разодетых мирян, заполняя хурульный двор. Молитвенно сложены руки. Уста шепчут — «Ом мани бадме хом» . . .

Июльское солнце немилосердно печет обнаженные головы молящихся.

Но вот молебен окончен. Сперва священники, а потом миряне стали подходить под благословение Ламы. Все встали. Стало тесно и душно.

Высоко держа в руке картуз, оглядывая окружающих, медленно двигался Джисан в сторону Ламы, прижатый со всех сторон горячими и потными телами. Ему, двадцатилетнему парню, давка не была тяжела.

Взор Джисана остановился на рослой и широкоплечей фигуре девушки в белом чесунчевом, хорошо сшитом, бешмете. Незнакомка была недалеко от него и, обливаясь потом, тоже двигалась к Ламе. Джисан всмотрелся. Широкий нос, почти исчезающий в переносьи, скуластое лицо, мясистые губы не делали ее красивой. Но светлый, не калмыцкий цвет лица, яркий румянец на щеках, — выделяли ее из окружающих смуглых лиц. А большие черные, внимательные глаза, черные брови, приятная улыбка, которая показывала ровные, большие, удивительно белые зубы, сглажива-

ли первое впечатление от ее наружности.

При более внимательном взгляде она показалась Джисану милой и привлекательной. Вдруг глаза ее встретились с глазами Джисана. В несколько мгновений она пристально осмотрела его высокую фигуру.

Джисан медленно, но упорно начал принимать в сторону и скоро очутился вплотную рядом с ней.

Едва заметная улыбка промелькнула на ее губах.

Помолчав немного и отерев платком пот с лица, он шопотом, направляя слова прямо ей в ухо, спросил: Какой вы станицы, сестра ? . .

Бурульской . . . вы не узнаете меня, я вас знаю по Чепраку.

Не помню вас . . . я почти не бывал в пансионе наших учениц.

Зато перед окнами прохаживались каждый день, — с улыбкой вставила она.

Ну, значит мы знакомы. Как ваше имя, — спросил Джисан.

Човлан, — тихо прошептала она и шевельнула пальцами опущенных рук.

Джисан догадался и успел пожать кончики ее пальцев.

Подпираемые толпой, они незаметно подошли к Ламе. Прервав разговор, стали подходить под благословение и потеряли друг друга из виду.

В это время в стороне от хурула станичный атаман, высокий смуглый калмык, с кучерявыми, как у цыгана, волосами, выравнивал тридцать лошадей, участвующих в скачке на «храмовой» приз в сто рублей. Уловив момент, когда горячие лошади сравнительно выравнялись, атаман громко крикнул: «пошел»! Щелкнули плети, звякнули стремена и, подняв облако пыли, лошади кучей ринулись в степь и скоро скрылись из виду.

Скачка была на пятнадцать верст.

До возвращения скакунов, стали вызывать борцов от станиц. Денисовская станица вывела молодого, но уже успевшего сделаться в своей станице популярным борцом, Доржу Ашланова. Ему пришлось бороться с

местным силачом, неуклюжим Бурче.

Раздетых борцов, с засученными до колен нанковыми кальсонами, накрытых черными покрывалами, вывели на середину большого круга.

Подведенные друг к другу, борцы схватились.

Доржа взял за пояс через плечо и нагнул Бурче. Завозились, закрутились.

Публика вдруг ахнула... Ноги Бурче высоко замелькали и, описав в воздухе круг, с силой шлепнулись оземь. В ту же секунду Доржа уже лежал на нем и крепко давил локтем в грудь. Бурче лежал и не шевелился.

Тихо зашушукали зрители, зароптали и загорячились местные, шум одобрения пошел в стороне Денисовцев.

Доржа встал, а Бурче лежал в обмороке.

Победитель подошел к Ламе и три раза земно поклонился. Лама благословил и дал золотой пятирублевик и белый платок.

Едут, едут, — закричали вдруг. Публика бросилась к воротам хурула. Возвращалась скачка.

Рослый рыжий красавец Очира Сокунева Денисовской станицы, далеко бросив остальных, свободно пришел впереди. Из тридцати участников этой скачки обратно пришли около десяти. Три лошади пали. Остальные, видя бесполезность скачки, вернулись с полпути.

Денисовцы торжествовали. Слава о Доржe Ашланове и о лошади Очира Сокунева должна была разнестись по всем тринадцати станицам.

II.

Был 1920 год.

Стояли январские дни с сильными ветрами и холодными дождями. По размякшей черноземной дороге на Кубани шли разрозненные, хмурые, промокшие небольшие части белой армии.

По этой же дороге, вперемежку с войсками, шли многочисленные подводы беженцев донских калмыков, снявшихся при приближении красных с веками насиженных мест и пустившихся в неведомое странствие

от стара до мала, со всем домашним скарбом и скотом. Скот и скарб давно были брошены, и калмыки теперь уже были нищие.

Сотник Джисан Шулаков, из рядов Калмыцкого Зюнгарского полка, с болью в сердце смотрел на страдания и гибель своего, так недавно беззаботного и богатого, народа.

Иные с полстяными будками на возилках и можарах другие на бричках и дрогах, многие пешком, кое кто верхами, голодные и изнуренные, тянулись его сородичи, увязая в липкой грязи. Весь их путь был отмечен свежими следами смерти, нечеловеческих страданий. Не видя крова ни днем, ни ночью, грязные и завшивевшие, шли они, стараясь не отстать от частей войск.

С непроницаемо — равнодушными лицами, без ропота на Бога, покорно перенося несчастья, упорно шли они вперед, не зная сами куда.

Тиф свирепствовал среди них.

Павшие от истощения лошади, быки, верблюды, брошенные подводы с вещами калмыцкого хозяйства, умершие и брошенные без погребения люди, наконец, кое-где полуживые, оставленные у дороги за невозможностью дальше везти, — отмечали путь многострадального народа.

Там маленькая девочка, увязая в грязи, вела за поводу исхудалую лошаденку, на которой с трудом держалась больная тифом мать. Здесь мальчуган правил парой лошадей в бричке.

Мальчик радовался, что отец его, все время стонавший и бредивший, наконец уснул и вот уже целый день лежит без движения и без звука.

Обычно шумные и веселые, зюнгарцы притихли и приуныли, видя страдания и муки своего народа.

Многие казаки отделялись от полка и присоединялись к своим беспомощным семьям. Иные присоединяли членов семьи к полку.

На лицах многих, закаленных в боях Зюнгарцев, видны были слезы. Чтобы скорее провести полк мимо этого кошмарного зрелища, командир полка повел зюнгарцев рысью.

Уже редела беженская колонна, когда Джисан заметил рослую девушку в черном кафтане, в высоких больших сапогах, с длинным кнутом в руке шагавшую рядом с быками, еле тащившими возилку. Он без труда угадал в ней Човлан, с которой четыре года тому назад познакомился при иных обстоятельствах.

Джисан выехал из рядов и под'ехал к ней. Она угадала его, и ее чудные глаза засверкали радостью.

Здравствуйте, Човлан, как дела?

Плохо . . . быки устают, мать больна . .. я одна.

Знаете, Човлан, мне сейчас некогда, но мы, наверно, станем на ночь в той станице, которая уже недалеко перед нами, я встречу вас на дороге. Мы вечером придумаем, как быть вам дальше, у меня в полку есть еще свежая заводная лошадь . . . Ну, так согласны принять мою услугу?

Хорошо . . . встречайте.

Так, а пока до свидания! . . .

Они протянули руки, глаза обоих были полны слез.

Зюнгарский полк, не останавливаясь, прошел ночью дальше. Човлан и Джисан не увиделись.

Тревожные мысли о Човлан часто щемили с тех пор сердце Джисана.

III.

Белая армия, преследуемая красной, дошла до Черного моря и начала беспорядочно грузиться на пароходы в разных портах.

Большая часть беженцев калмыков не дошла сюда. Старые, больные и безлошадные, отставая по пути, разновременно были захвачены большевиками, у которых подвергались новым мукам издевательства и насилия. Но и избежавшим этой участи мало было радости.

Командование белой армии было занято спасением собственных шкур и заботой о своих надежных частях. О каких то беженцах, да еще калмыках, думать было некому.

Пройдя тяжкий путь страданий, только благодаря своему упорству и выносливости дойдя до этой завет-

ной черты, они должны были остаться здесь и попасть в руки зверя-врага, не имея возможность переплыть море. Только немногим калмыкам случайно удалось попасть на пароходы. Нашлись и такие которые предпочли морское дно ужасам плена.

Калмыцкий Зюнгарский полк грузился у Нового городка за Адлером. Здесь были только Донские части и погрузка проходила спокойно. Грузились здесь и немногие подоспевшие беженцы калмыки.

Взводу Джисана выпало грузиться в числе первых. Лодка, управляемая матросами англичанами, быстро удалялась от берега, направляясь к далеко стоявшему большому пароходу, когда с берега донесся до слуха Джисана женский крик: Джиса-а-н!

Джисан оглянулся, и на берегу, в теснившейся группе беженцев, зоркий глаз его узнал светлое лицо Човлан. Она стояла у самой воды и что-то, видимо, кричала ему.

Джисан беспомощно развел руками и показал на пароход.

До самой темноты, до конца погрузки стоял Джисан на борту парохода, все поджидая, не подвезут ли сюда Човлан. Англичане размещали людей на пароходы по своему усмотрению, и Човлан не попала на этот пароход.

В Крымских портах пароходы выгружали людей разновременно и даже в разных портах, и Човлан и Джисан не увиделись и при выгрузке. Зюнгарский полк, отдохнув немного в одном из сел Крыма, пошел на фронт.

Четыре месяца прошло в частых в кровавых боях. Жертвы калмыцкого полка увеличились еще сотней убитых и искалеченных его сынов. Калмыцкий полк до конца исполнял свой долг перед родиной.

Джисан получил известие, что Чавлан выехала в Крым и находится при детях-сиротах в Евпатории. Он несколько раз пытался поехать в отпуск к ней, но каждый раз от командира полка получал обещание и просьбу подождать.

Красные загнали белых сперва в Крым, а потом ворвались и в это «гнездо белых». Белая армия кинулась к портам и опять спешно стала грузиться. С армией Врангеля на разных пароходах выехало заграницу больше трех тысяч калмыков. Не меньше их осталось и в Крыму, не успев на погрузку.

Зиму 1920-21 года калмыцкий полк провел в лагере Кабаджа в Турции. В норах, вырытых в сырой земле и накрытых землей же, прозимовали здесь калмыки, терпя голод и холод.

Джисан не имел никаких сведений о Човлан. Наконец, к весне он получил известие, что она в Болгарии и уже вышла замуж.

Смутные надежды Джисана погасли. Он немедленно покинул полк и с партией Зюнгарцев поступил в обоз английской армии в Турции.

IV.

Через два года Джисан поехал в Болгарию.

В первом же большом городе, увидев на станции своих станичников, Джисан слез с поезда и остался здесь. Обрадованные станичники привели его к себе на квартиру.

Джисан у колодца смывал с лица дорожную копоть, когда проходила мимо него женщина высокого роста, в серой вязаной шерстяной жакетке. Он взглянул, и взоры их встретились.

Човлан покраснела и, едва слышно ответив на приветствие, ускорила шаги.

Войдя в хату, Джисан узнал от жены своего станичника, что у Човлан двухлетний ребенок и что ожидается еще.

«Никакого разговора быть не может . . . она права, никогда между нами не было определенных разговоров . . . дай Бог ей счастья . . . я еду дальше» . . . думал про себя Джисан, вытирая мокрое лицо.

Прошло три-четыре дня. Джисан, побродив по городу, возвращался на квартиру. Ходить было далеко. Проходя через городской сад, он присел на скамейку в тени дерева — отдохнуть. Был жаркий день ранней

осени, и еще приятно было, наморившись, посидеть под тенью.

Раздались шаги и мягкий женский голос произнес. «Что это вы так мрачно задумались, не нравиться вам Болгария»? — Подходила Човлан с каким то узелком в руке.

А-а! Это вы . . . видите, сел отдохнуть и задумался, — отвечал Джисан, отодвигаясь на скамье.

Нет, вставайте, идемте потихоньку... на ходу я лучше говорю.

А, вы хотите много говорить? — шутливо заметил Джисан, вставая.

Вы думаете нам не о чем? Нет, почему же не поговорить. Мы давно знакомы . . . расскажите, как выехали заграницу, как жили и живете, впрочем, последнее ясно: вы счастливы.

Выехала я в кошмарных условиях. Жила ужасно. Голодовала, болела, была одна . . . и вы ошибаетесь, что я теперь счастлива, — сказала она и замолчала.

Молчал и Джисан. Вы предположили, что я счастлива, — начала она после продолжительного молчания, — увидев, что у меня муж, ребенок, что я обута, одета, не правда-ли? Да, — отвечал Джисан.

Нет . . . я несчастлива. Мужа не только не люблю но, даже, не уважаю. Он женился на мне благодаря исключительно безвыходному моему положению. Как ходите судите меня, но умереть в двадцать три года я не съумела. Неужели вы думаете, что для счастья молодой интеллигентной женщины достаточно куска хлеба, нового платья, какого-нибудь мужа и ребенка? — спросила Човлан.

Я ничево не думаю, и не знаю, чем могут быть счастливы женщины, вам, пожалуй, это виднее. Одно могу сказать, что ваше несчастье меня печалит. Я был бы рад, если бы вы были счастливы, жаль . . . знать ваша судьба была такова, поживете — привыкнете.

Вон ты, что говоришь, — протянула она, переходя на «ты», — а я думала иначе. Думала, что ты приехал ко мне.

Гм . . . почему же? — пробормотал Джисан.

Не знаю, может я ошибалась, мне всегда казалось, что мы . . . я с тех пор, как мы познакомились, часто думала о тебе.

Глаза ее увлажнились, и она умолкла.

Човлан, — дрогнувшим голосом заговорил Джисан, — вы не ошиблись. У меня в мыслях никого не было, кроме вас, но теперь поздно об этом говорить. Вы уже связаны. Я решил влачить одинокую жизнь.

Я это знала, что ты не заговоришь со мною, с замужней женщиной, и уедешь молча, и потому, как это ни стыдно, решила сама начать. Я уйду от мужа, ребенок не жилец на свете, он рахитичен . . . да и сама я недолго проживу. Беженство не прошло даром. У меня туберкулез и, кажется, скоротечный. Знаю, что недолго мне жить. И вот потому хочу, хоть один год, полгода, месяц, пожить с любимым мужем . . . с тобой . . .

Не ожидавший такого разговора Джисан был сильно смущен и озадачен.

Они долго шли молча. Наконец, Джисан сбиваясь начал:

Я рад, и если ты, женщина, идешь на такую жертву, мне ли чего бояться для своего-же счастья! Я готов. Только нужно обставить так, чтобы было меньше шуму.

Не бойся, я уйду к своей родственнице, которая давно хочет, чтобы я ушла от мужа. Через месяц рожу другого ребенка, отдам и его им, и я свободна. Чтобы не вызывать подозрений, ты завтра же уезжай в Софию. Ну, довольно, мы уже пришли домой, и так наша четвертая встреча будет последней. Почему? — спросил Джисан.

Потому что мы теперь не расстанемся, — проговорила она и свернула в сторону своей квартиры. Джисан на другое утро с первым поездом уехал в Софию.

Не прошло и недели, как разнеслась весть, что Човлан уходит от мужа. Шило все же не утаилось в мешке. Скоро многие шептались о причине такого внезапного развода и, упоминая имя Джисана, не ошиблись.

Човлан, несмотря на слезы и мольбы мужа, на его угрозы, ушла от него. Через три-четыре недели родила больного ребенка и, после родов, не вставая, легла в больницу.

«Я слегла в больницу. Не знаю, поправлюсь ли? Если к весне выйду отсюда то мы, значит, поживем с тобой, но чувствую, что болезнь съедает меня. Дети мои умерли, но не столько думаю о них умерших, сколько о тебе желанном, хотя знаю, что они — часть моей души и тела. Не печалься много. Может Бог благословит нашу любовь. Ибо все от Бога. Не было бы воли Его, мы не полюбили бы друг друга с первой встречи и так крепко.

Деньги больше не присылай. Что прислано, — пока достаточно. Береги себя на работе для меня. Я так похудела, что кольцо, которое ты надел на безымянный палец, не держится и на большом.

Чтобы не случилось, знай, что я искренно тебя любила и умру с твоим именем на устах и до конца буду благодарить тебя за твою любовь». Човлан.

Читал Джисан, идя по улице Софии, и слезы текли по его щекам.

Через два месяца Джисан приехал в больницу, где лежала Човлан. Тихий майский день клонился к вечеру. Джисан сидел на могиле Човлан и в еще свежую глину втыкал ромашки и разбрасывал мяту. Сумерки сгустились, было уже почти темно, когда Джисан ушел с болгарского кладбища.

У НЕЗРИМОЙ СТЕНЫ

Сумбурные шли дни. Рушился старый мир. Как пшенные зернышки в кипящем котле, мелькали люди, уходя в небытие.Не хватало у людей горя, не хватало в сердце боли, чтобы долго убиваться. Упростилась жизнь. Что было немыслимо раньше, теперь стало обычным. Человек — самое цепкое существо: куда ни кинь, как его ни пригни, а он все же найдет и радость у жизни урвет . . .

Плясала кругом смерть. Царил голод. Было холодно. А как столкнулись Аюш и Оваджа, посмотрели друг на друга внимательно и вежливо поклонились, хоть и не были знакомы. А когда подводы калмыков, бегущих от красных, сгрудились у какого-то моста и пробка на несколько часов остановила движение, Аюш подвел свою возилку к подводе Оваджа, поставил их рядом и, как знакомый, подошел к ней . . .

Оваджа уже три дня не умывалась. С утра до вечера двигалась в веренице подвод, а ночи проводила в будке на подводе с сестренкой и братишкой, которым с недавнего времени заменяла родителей. Но в фигуре ее под белой отцовской шубой чувствовалась девичья стройность. Из под черного курпекового джатака глядели живые черные внимательные глаза и огнем светились на крупном, энергичном смуглом лице. Оваджа с первого взгляда понравилась Аюшу.

Он был с нею одних лет. Коса смерти сделала и его хозяином дома в 18 лет, кинув ему на руки двух малолетних сестер. Хоть дики и пугливы девицы-калмычки, но Оваджа охотно отвечала на разговоры Аюша. За те несколько часов, на которые застряли табор у моста, они стали друзьями.

*

Дорога по долине глубоко размочена. На колеса подвод наворачиваются громадные глиняные обручи. Пыхтя, высунув языки, едва двигаются быки и лошади.

— Это не грязь, а расплавленный и остывающий клей! Эта дорога многих засосет в преисподнюю! . . .

Знаете, что Оваджа? У меня тоже один бык дает последние силы. Давайте спаруем лучших двух быков, а слабых поведем свободными за будкой, дадим отдохнуть, а потом счетверим. Одну возилку бросим, поклажи соединим. У вас двое малышей, у меня тоже. Вы пятеро будете ночевать в будке, а я буду проситься на ночлеги по другим будкам, где будет свободно. Хорошо? . . . Тогда готово! Объдиняемся! . . . Ну, простите, больше не буду, как не пошутить в такое время?!

*

Просветило два дня солнце и дорога уже лучше. Бодрее шагают быки под гору. Привыкшие друг к другу детишки-сироты в будке нестройно поют. Впереди виднеется станица, где можно будет купить хлеба и молока. Аюш и Оваджа идут возле подводы.

— Об этом чего спрашивать? . . . То и без слов видно. Нравитесь мне . . . Родителей нет, сама я глава дома теперь. За кого захочу, за того выйду . . . Да, то верно, время теперь такое, что выдержать все меры закона нельзя, дело можно провести проще . . . Только скажите — какой вы «кости»?*) Да-а-а!? . . . Ведь мы тогда одной «кости»! Брат и сестра, значит? . . . И бывает же

---

*) *У калмыков есть слово «ясн» («кость»), устанавливающее далекое происхождение данного лица. В далеком прошлом калмыцкий народ делился на множество племен, родов. Каждый род имел свое название. Со временем эти роды и племена слились в один народ, но их название осталось, как указатель, к какому племени прежде принадлежали предки данного калмыка. Первым словом калмыка при знакомстве является вопрос: «Какой кости?». Все люди, происходящей от одной «кости», считаются кровными родственниками и, во избежание кровосмешения, между людьми одной «кости» строго воспрещены браки.*

такая плохая доля!... А впрочем, кто знает, может и лучше, что мы родственниками оказались. Теперь можем спокойно вместе ехать в одной будке... Брат и сестра могут вместе ехать. Сколько вам лет?... Ага, я на год старше, значит я старшая сестра и поэтому перехожу на «ты»... Теперь можешь, Аюш, ночевать в своей будке... Только те слова теперь похорони... Сам знаешь, что значит быть одной «кости». Я рада, что нашла брата... Что-о-о!? Дурак ты!... Застегни накрепко в своем сердце — между нами непроломная, незримая стена, ее же никакое сердце не перескочит!... Я — твоя сестра, а ты — мой брат. Это не зря нас Бог свел в пути, среди грязи и горя несчетного: я осталась сироткой с малыми на руках, ты остался сиротой с малышами на руках. Чтобы мы поддержали друг друга и свел нас Бог, потому что мы — брат и сестра... А за те слова я тебя прощаю... Не знал ты, что мы — одной «кости»... А больше для такой речи рта не раскрывай... Ну, так! Так было давно!... Теперь ты, Аюш, как только приедем в ту станицу, побеги купить сена для быков и хоть немного ячменя, а я закуплю харчи, да постараюсь умыться, да детишкам белье переменить...

Цо-цоб!...

Февраль 1920.

РАСТОПТАННЫЙ ТЮЛЬПАН

Создатель назначил мне родиться в день Льва, в месяце Дракона, в год Коня. И стало так. В книге судеб было написано: «Человек мужского пола, родившийся в день Льва, месяца Дракона, в год Коня, будет счастлив. Желания его медленно, но верно будут исполняться; богатым ему не быть, если не будет ленив, будет везучим. Назвать его Арслан».

В год Обезьяны, в день Коровы, месяца Мыши Создатель послал на землю, через супругов — наших соседей, Зандану. Все приходит сверху и уходит на низ.

Как только, ползая вокруг нашего очага, сошлись мы с Занданой, улыбнулись на небе наши создатели и благословили нас на любовь взаимную.

Шли годы. Мы с Занданой были дружны. Когда мне было четыре года, а Зандане три, шутница-бабка Ногаля спросила меня: «Арслан, кого ты хочешь взять?» — «Зандану» — отвечал я. — «Вота так, какой ты хороший мальчик! . . . А ты, Зандана, пойдешь к Арслану?» — «Пойду!» — отвечала Зандана и, подойдя ко мне, села возле меня.

Смех наших матерей и бабки Ногая не был понятен нам. С того дня нас нарекли женихом и невестой. Все детство наше прошло вместе, в безмятежной дружбе. Казалось, что мы на самом деле понимаем значение слов — жених и невеста.

*

Через девять лет, когда Зандане было двенадцать, а мне тринадцать, узнали мы, что жених действительно берет к себе свою невесту, и живут они после этого в одной хорошей белой кибитке с одной новой постелью, под красивым ситцевым балдахином. И еще увидели мы — когда жених берет невесту к себе, хотон пирует, взрослые пьют раку, а дети объедаются пряниками и леденцами.

— Ты смотри, Арслан, когда будешь меня брать, то мне леденцов привези в красивой обертке, с махрами — говорила мне Зандана на другой день, как в нашем хотоне была одна свадьба жениха и невесты.

В ту осень нагрянуло на мою голову большое несчастье: мой старший брат, который умел и любил глядеть на испещренные листы бумаги и бормотать непонятные слова, задумал отвезти меня в школу в нашу далекую станицу, куда на хорошем коне нужно ехать целый день. Брат мой шутить не любил. Как задумал, так и сделал.

Был ясный, тихий осенний день, когда он, посадив меня позади седла, повез из нашего хотона. Тугой комок, застывший у меня в горле еще с утра, не давал мне говорить, а на глаза то и дело набегала мгла, но я крепился.

Когда мы пересекли среднюю стежку, пролегавшую через наш хотон, мы проехали мимо моих товарищей, шумной ватагой игравших в «чуш», и тут я увидел Зандану, которая смотрела на меня грустными глазами.

— Ишь вы, звереныши, все играетесь тут, а вот Арслан едет учиться, а потом будет учителем! — сказал им мой брат, показывая на меня.

— Бывай в здоровьи, Арслан! . . . А где ты положил свою белую палку, я возьму ее!? — воскрикнула Зандана.

Я не мог ответить. Уткнувшись лицом в спину брата, я навзрыд заплакал. Чтобы унять мой плачь, брат пустил коня вскачь.

Так покинул я впервые родной милый хотон на береку речки Аюла, впадающей в Маныч, что змейкой серебрянной тихо ползет меж камышевых зарослей по степи Калмыцкой, необъятной.

*

Дни и ночи проходят — время быстро минует; стоит месяцу начаться, чтобы кончиться, а младенцу стоит народиться, чтобы незаметно вырасти. Девятнадцатая весна шла мне, а Зандане восемнадцатая, когда я встретившись на берегу Аюла, отдал Зандане пышный букет первых махровых тюльпанов.

То был чудесный день! . . . Пели жаворонки в синем небе, солнце щедро грело, зеленый ковер растилался кругом, как море-океан. С большими терново-черными

глазами, с коротеньким вздернутым носиком меж смуглорумяных щек, красавицей бесподобной была для меня тогда Зандана, а роскошные черные волосы так приятно пахли, пригретые весенним солнцем.

— Спой Зандана! . . . Я люблю слушать твое пение, когда напеваешь, доя по утрам коров.

— «Если есть доля, отпущенная Создателем, то можно сделаться друзьями жизни!» — разливалась она в унисон своей души, вскидывая на плечи коромысло с двумя ведрами воды. Это был первый день в нашей жизни, когда мы произнесли слово: «люблю».

— А когда ты кончишь учиться? Вот уже семь лет, как ездишь! — допытывалась она.

— Через три месеца кончу.

«Все ровесники уж служивые,
Все сверстники уж семейные» —

запела она вполголоса, размеренно покачивая двумя ведрами, как бы не слыша мой ответ, а потому с полуукоризной.

— Все образованные, говорят, не хорошие люды; они не знают своих национальных обычаев, они люблят русских и их законы. Ты тоже, наверно, такой!? . . . Разве не знаешь, что неприлично парню на глазах людей кружиться вокруг девицы!? Вот уж поднимаемся на гору, а ты все не отстаешь! — строго сказала она.

Я сел на траву и провожал ее взглядом. А как мне хотелось все идти и идти с ней . . .

*

Пасхальные каникулы кончались. Хотонная молодежь устроила в мою честь прощальную вечеринку. Хорошо играть в лунную ночь в киданье «белой кости», шумной гурьбой, разделившись на два лагеря! . . . Возьмешь в руку эту игральную «кость» и швырнешь изо всей силы в белесую мглу, и весь лагерь замрет в ожидании команды: «Пошел!», чтобы, как стая молодых зверят, броситься вперед. Каждый лихорадочно ищет эту «кость», чтобы найти и, крикнув — «здесь, догоняйте!» — броситься изо всех ног к своему стану.

Если одна и та же партия три раза подряд найдет и, не отдавая преследователям в руки, донесет «кость» до своего стана, то она выигравает от противной стороны одного человека.

Идя плечо к плечу, усердно искали мы с Занданой эту «кость», но ни разу не нашли. Зоркость глаз, вниманье, быстрота ног и увертливость нужна в этой игре, но наши с Занданой глаза ничего, кроме друг друга, не видели.

— И что это вы, как сироты-барашки, все вместе и вместе, ничего ни разу не находите, проигрывает наша партия! — укорял наш старший.

Уж поднялся ввысь и запел первый жаворонок, когда мы, наигравшись всю ночь во все игры, натанцевавшись и напевшись вокруг возилки, расходились по кибиткам, чтобы сомкнуть очи до восхода солнца. Я провожал Зандану. Кибитки наши были рядом.

— И так, через три дня я уеду, через три месеца кончу и больше не уеду никуда — проговорил я.

— Ты-же заходи к нам каждый день, мама и папа любят тебя, как сына.

— Вчера я говорил жене брата, чтобы наши поехали в хурул и чтобы «зурхачи» посмотрел книгу судеб и сказал — можно-ли нам с тобой официально стать женихом и невестой — говорю ей то, что весь вечер не мог сказать.

— Замолчи, безстыдник! . . . Ты как русский, ни стыда, ни совести, разве можно нам об этом говорить!? — оборвала она меня, притворно сердясь, и мы разошлись . . .

*

Мрачным вернулся мой отец из хурула, и вся семья сразу догадалась, что не суждено нам взять в дом нашу умницу Зандану. Зурхачи сказал: «В книге судеб написано, что парень, родившийся в год Коня, не может стать мужем девицы, родившейся в год Обезьяны. Несчастье постигнет оба дома, если станут сватами» . . .

Буря поднялась во мне против этого писанья, но все кругом приняли это, как непререкаемый закон, как указанье свыше, как Богом отпущенную долю.

— Ну нет! . . . Без Занданы я жить не буду — решал я про себя, идя на другой день в их кибитку.

Весть, что Арслану не подошли по святому писанию года Занданы, быстро разнеслась по хотону и каждый выражал нам сожаление, ибо все знали нашу чистую любовь и восхищались нами, как будущей счастливой парой.

В кибитке своей Зандана была одна. Глаза ее были красны и веки припухли от обильных слез. Не поднимая головы, она что-то шила. Невольный вздох вырвался из моей груди.

— Зандала, что делать? — мог только я спросить.

— Ничего . . . Отпущенная свыше доля — тихо прошептала она и еще ниже опустила свою голову, рассыпая по плечи волны смоляных волос.

— Никакой такой отпущенной доли нет, а есть просто глупость! . . . Я увезу тебя. Живым не буду, если уступлю тебя другому. С трех лет наши родители нарекли нас женихом и невестой! — загорячился я.

— Не болтай глупостей, и слышать не хочу! Чтобы я, бежав с тобой, опозорила отца и мать, перешагнула предписанный богами закон! . . . Да за кого ты меня принимаешь? Я тебе не русская. Нельзя нам соединить судьбу и кончено. Что делать? . . . . Против веления Бога не пройдешь — отвечала мне Зандана.

В словах ее была такая твердая уверенность, что упало сердце мое.

*

Все кругом сразу изменилось. Не так уж ласково и радушно встречала меня мать Занданы. Сама она стала явно избегать встречи со мною, и я уехал в школу сам не свой. Через неделю я услышал, что Очир, имевший счастье родиться в год Собаки, и для которого в книге судеб оказалось благоприятное предсказание, засватал мою Зандану.

Когда я вернулся в хотон, окончив школу, какой-то далекой и чужой встретила меня Зандана. Однако, я

продолжал заходить к ним ежедневно. Зандана не вступала со мной в разговор, но каждый раз, без разрешения матери, вставала и готовила мне что-нибудь из скромной степной кухни, и никогда не забывала налить мне чай в мою любимую свою чашку, подать свою ложечку... Но она была невестой Очира. Через год должна была быть их свадьба.

«Женить сына» — такого слова нет в калмыцком языке, а говорят: «сделать сына человеком» и это значить — оженить, а покуда он не женат, он не человек.

Мои родители тоже захотели «сделать меня человеком», как только я окончил школу и получил звание учителя. Но тут-то я уж был непреклонен. Я категорически отказался жениться. Слава Богу — в книге судеб не сказано, что мужчина обязан жениться.

Воспротивившись желанию родителей и открыто поговорив с ними о делах женитьбы, я нарушил обычаи старины, допустил неприличие, и мать моя заголосила:

— Доучили моего сына проклятым русским наукам, пропал мальчик, бобылем останеться, или в чужую веру перекрестится, говорила, я, что не надо его так долго учить!...

Отец мой мрачно молчал. Дулся на меня и брат. Тягостные дни настали в нашей семье.

— Вот получит он место учителя в своей станице, там сам найдет невесту — говорил мой брат своей жене и советовал не трогать меня. «Там он увидит много других девиц и забудет Зандану» — думали они. Но этого не случилось. На каникулы приехал домой, и о женитьбе по прежнему ни слова.

*

Через месяц была назначена свадьба Очира и Занданы. Не только в двух семьях, но и весь наш маленький хотон готовился к этому событию. Я три раза ловил Зандану и предлагал, умоляя, уехать и пожениться незаконно. Но ответ был тот же, что и всегда: «Отпущенная свыше доля, законы старины, воля и честь родителей», как гранитная скала встречали меня и отбрасывали прочь.

Убитый горем, бессильный побороть скалу традиции окружающей среды, принужденный лишиться любимой девушки, которую привык считать в душе своей подругой жизни, лежал я с горестными думами в тени терна в Чебановой балке. Большие созревшие ягоды не привлекали меня, они напоминали мне, как мы с Занданой любили их собирать и, принося домой полные шапки их, бывало, толкли ягоды в сметане и с аппетитом кушали.

Вдруг раздался звонкий детский лепет и, обернувшись, я увидел Зандану, ведущую за руку маленькую сестренку и спускающуюся в балку с чашечкою в руке.

Я притаился и продолжал лежать, невидимый под густым терновым кустом и разросшейся дикой повителью. Сестренка ее немедленно приступила к сбору ежевики, то и дело зовя Зандану полюбоваться крупными ягодами. А Зандана села, не заходя в заросли и, сняв джатак, отпустив туго затянутый кушак, обернулась лицом к нежному западному ветерку.

Лицо ее было задумчиво. Опустив голову на руки, долго она сидела так без движения, лишь изредка откликаясь на зов сестренки. Вдруг послышался тихий мотив песни. Сперва нельзя было разобрать слова, а только лился вполголоса нежный мотив. Но дальше она повысила голос и, уже ясно выговаривая слова, запела знакомую мне песню: «Слишком белое марко, слишком нежное хрупко. Что делать с долей отпущенной, что делать при разлуке с милым» . . .

Песня так была по моменту и так остро резала по живой ране сердца, что я едва сдержался, чтобы не заплакать и не броситься перед нею на колени.

Вдруг она умолкла и, закрыв лицо ладонями рук, горько и беспомощно заплакала. Я хотел вскочить и подбежать к ней, но слезы, сами полившиеся из моих глаз, заставили меня лежать и дальше в своем убежище.

К Зандане подбежала встревоженная сестренка и тоже, обвив ручонками ее шею, заплакала. Зандана стала ласкать ее и сама понемногу успокоилась. По-

том она встала, оправилась и, ведя сестренку за руку, пошла домой.

В тот вечер у колодца я опять поймал ее и просил сказать последнее слово на мое предложение — бежать вдвоем.

— Об этом не стоит и рот раскрывать. Я тебе свое слово давно сказала. Пути нашей жизни разошлись. Ты меня забудь и ищи себе ту, которая тебе свыше предназначена.

Похоже было, что страданье и слезы украдкой еще больше укрепили ее в решении подчиниться судьбе.

*

Свадьба в калмыцком хотоне большое праздничное событие. На свадьбу съезжаются за десятки верст родные, друзья и просто охотники выпить, поесть, погулять, поскакать и посостязаться в бою на плетях — все они желанные гости в двух семьях, женящих молодых.

Но я, за два дня до свадьбы Занданы, уехал на целую неделю, чтобы не видеть, как Очир, имевший счастье родиться в год Собаки, увезет мою Зандану. Весь хотон понял меня и никто не упрекнул.

Очир был мой однохотонец и через неделю, вернувшись, я увидел Зандану дамой, вошедшей в свою роль молодайки. Первою ее просьбой, когда мы на минутку оказались одни, было — не заходить к ним. Я не обещал ей это и бывал.

С мужем ее мы были друзья и он, не имея оснований сомневаться в честности Занданы, не ревновал. Да и Зандана никаких поводов к ревности не давала. Она избегала меня и старалась не оставаться со мною наедине. Но я ходил, вздыхал, страдал, при всяком удобном случае клялся, что не могу жить без нее. Я знал, что мужа своего Зандана не любит.

Прошло три года. Муж Занданы был в полку. Я еще не был ничьим женихом. Родные на меня махнули руками, решив, что я остаюсь вечным бобылем.

По праву ближайшего соседа, который, вдобавок, читает родителям письма от их сына и пишет им от родителей, я бывал в доме Занданы ежедневно и созна-

тельно, упорно за нею ухаживал. Но признаков успеха все не было. Зандана со мною была откровенна и дружна, но не больше. Часто мы вспоминали наши детские и юношеские годы, заполненные общими приятными вспоминаниями, но всякий раз, когда я подводил разговор к нашей любви, она обрывала, говоря: «Что-ж делать!? Не было доли. То судьба!» . . .

Когда муж Занданы через год ожидался домой, и родители с нетерпением высчитывали дни, вспыхнула Великая война, и Очир попал на фронт.

Наш «Белый праздник» в том году пришелся в хорошие дни. Было сухо и не морозно. Рано, с зарей, открыв праздник в кругу семьи, одевшись по праздничному, я вышел, чтобы нанести визит своему дяде, а потом и другим родственникам и соседям. Но выйдя, я задумался: «Э! . . . пусть родные подождут, пойду я в этот день первым к Зандане, пусть знает, что дороже ее у меня никого на свете нет» — подумал я, и решительно зашагал к ним.

— Да будет Белый праздник на счастье дому сему! . . . Во здравии ли вы зимовали!? — проговорил я традиционное приветствие, входя к ним.

— А-а! . . . Наш дорогой сосед! . . . Я подумывал в уголке ума, что ты первым пожалуешь ко мне . . . Спасибо тебе, да будет и тебе праздник на счастье! — радостно приветствовал меня старик, свекор Занданы, обнимая меня.

Праздничная традиция повелевает всем калмыкам в этот день обниматься. Я имел право обнять сегодня Зандану на законном основании.

Когда вошел к ним, Зандана, увидя меня, почему-то покраснела и, отвернувшись, что-то продолжала делать. В черном шелковом халате с зеленой бархатной грудью, расшитой золотом, в черной бархатной круглой шапочке, туго подпоясанная золотым кушаком, она была стройна, свежа и притягательна. Спокойные, большие черные глаза, с густыми ресницами, кругленькие щечки со смуглым румянцем, строго сложенные, чуть-чуть мясистые губы — все было в ней прелестно.

Само собой разумеется, наше традиционное праздничное объятие вышло чуть покрепче и немножко продолжительнее обычного. К тому же, изловчившись, я сумел кончиком языка лизнуть Зандану позади уха. Строгий и укоризненный взгляд и чуть покрасневшие щеки говорили, что она и сердита и огорошена моею смелостью.

— Ты, Зандана, Арслану поднеси с песней. Он хоть и учился у русских, но песни свои калмыцкие любит — приказал старик, чтобы заодно и самому выпить лишний раз с песней.

Наполнив две большие рюмки водкой и став перед мной, Зандана запела традиционную на сегодня песню: «Белокопытый гнедой по белому снегу гарцует. Белого месяца первый день во здравии и весельи встречаем»... Теплом, уютом и светом наполнилась убогая землянка бедного старика от этой песни лучшей женщины.

Когда я выходил от них, чтобы теперь начать визиты к родным, Зандана встретилась со мною в чулане и, как будто равнодушно, спросила:

— Выезжаешь сегодня до соседних хотонов?

— Да, поеду с ребятами, а что? . . .

— Да так, ничего; все парни выедут, а барышням нашим будет одним скучно на вечеринке.

— Если хочешь, я приеду на вечеринку, но только не для барышень, а для тебя.

— Мне ты и даром не нужен . . Езжай, пожалуйста, и хоть не возвращайся оттуда месяц . . . Говорят, в корольковском хотоне есть красивая барышня, — проговорила она и прошла в землянку.

Приготовленный к выходу в полк, конь мой оказался очень хорошим. Свободно водил он скачки от хотона к хотону, канавы и ограды легко и красиво он брал целый день. Было весело на душе, ибо лихой конь для молодца — всегда счастье и гордость.

Был поздний вечер. Наша компания была уже в четвертом хотоне, верст за двадцать пять от своего и я участвовал в многолюдной и веселой вечеринке, состязаясь с местными парнями в танцах и песнях.

Вдруг, когда стала танцевать очередная пара, я заметил, как барышня на поворотах точно также гнет правую руку в локтях под прямым углом, как это делает всегда Зандана. И тут только я вспомнил наш утренний разговор и свое обещание вернуться домой на свою хотонную вечеринку.

Не говоря никому слова, я вышел, сел на коня и пустился один в путь. «Расстояние трех трубок» — говорят калмыки про такое расстояние. Но молодому человеку, на лихом коне, мчащемуся к любимой женщине, оно было еще короче. К тому же, мне не нужно было раскуривать эти три трубки — я не курящий.

До полуночи еще два часа; к полуночи, когда вечеринка нашего будет в разгаре, я расчитал неожиданно появиться там. Степь наша ровна, как стол. Темная ночь не мешает скакать по ней во весь дух. Только три раза переводил коня на шаг, чтобы дать ему отдышаться, три раза рысил, чтобы отдохнуть самому, и третий раз пустив коня широким махом прямо на конец «Семи богов» (созведие Большой Медведицы), я услышал лай собак нашего хотона.

Убрав коня, не заходя в свой дом, я пошел искать вечеринку. Все спало мертвым сном, тяжелым, пьяным. Везде было темно и тихо. Только на краю хотона, в землянке стариков Гашуновых, сквозь щели окон я заметил слабо мерцающий свет. Там должна была быть и вечеринка. Подойдя ближе, я уловил лопочущие звуки балалайки и взрыв веселого смеха.

Приход мой был неожиданный и гул радостных возгласов встретил меня. Зандана была тут. Я занял место рядом с ней.

— Где остальные парни, все вернулись? — спросила она.

— Нет, я один.

— А с чьего хотона вернулся?

— Из Андронникова.

— Боже! . . . Из такой дали, и в такую темную ночь?! — недовольным голосом сказала, но, окинув меня нежным взглядом, тихо вздохнула.

Когда начали петь петухи, вечеринка начала расходиться. Вдоволь навеселившаяся молодежь начала группами уходить. Я провожал Зандану по праву ближайшего соседа. Придя к воротам ихнего двора, я остановил ее и сделал опять чуть ли не десятое предложение:

— Зандана, ты видишь, что я никогда ни на ком не могу жениться, кроме как на тебе. Мужа ты не любишь. Уже четыре года его не видишь. Детей у тебя нет. Бросай его и давай поженимся. Или ты уже не любишь меня? . . . Помнишь, когда я дал тебе на берегу речки букет тюльпанов, ты была радостна и счастлива? . . . Твой Очур, когда ты его бросишь, женится другой раз, а я без тебя останусь навеки холостяком . . . Не губи меня Зандана . . .

— И какой-же ты . . . И какой-же ты! — начала она грустным голосом. Я никого на свете, кроме тебя, не любила и не полюблю, но ведь я уже замужем! Понимаешь ты — судьба наша такая оказалась. Ведь, мой муж на войне; я молиться за него должна и безгрешно себя вести, чтобы его боги сохранили живым, а ты меня на такой великий грех толкнешь! Если я сделаю плохое и мой грех принесет несчастье моему мужу на войне, я тогда себя убийцей буду считать . . . И себя возненавижу и тебя тоже, если ты введешь меня в грех. Ой, Боже! Боже! . . . Я устала бороться с собой, а ты меня не жалеешь, все преследуешь и преследуешь целые годы, не понимаешь моей души и мое сердце . . .

Тут голос ее задрожал и она, припав головой на мое плечо, зарыдала . . .

Тут только какое-то просветление нашло на меня. Только теперь, действительно, стало жалко мне ее, и стало мне стыдно за свое такое долгое и упорное ухаживанье. Я понял, как разно мы с нею воспринимаем свет. Я тут-же дал ей слово — оставить ее в покое навсегда и постараться заглушить свою к ней любовь.

— Ну, Арслан, я тебе верю — если ты дал слово, то сдержишь . . . Пусть засохнет в наших сердцах наша любовь, которую не благословили боги . . . А теперь дай мне крепко тебя поцеловать — сказала она и, взяв-

шись обеими ладонями за мои щеки, долго и нежно целовала, обливая мое лицо теплыми каплями. Наши слезы мешались.

Когда я, как пьяный, отошел от нее и направился домой, она вдруг окликнула меня и, подойдя ближе, сказала.

— Дай мне право найти тебе невесту и дай слово, что подчинишься.

— Теперь мне все равно, — отвечал я.

Так расстались мы, прервав нить крепкой любви, тянувшуюся между нами столько лет.

*

Встретился я с Занданой через два месяца. Была уже весна. Степь цвела по прежнему пышно и пестро. Зандана загоняла в свой двор коров, когда я верхом проезжал мимо.

— Подъезжай ко мне, Арслан, я тебе скажу одну вещь! . . .

— Ну?!

— Я решила тебя женить на Зельмя. Разреши поговорить с вашими.

— На Зельмя? На этой бедной сиротке? Разве ей уже 16 лет? . . .

— Да, шестнадцатый идет. Она умная девочка, строгая. Я ее люблю, как сестру. Если на ней не женишься, буду болеть душой. Ей тебя отдам . . .

— Ну, мне все равно. Я тебе дал слово. Делай, как хочешь, скажи нашим, пусть сватают, — ответил я равнодушно.

— Вот еще раз спасибо тебе . . .

— Знаешь, Занда, когда прольется теплый весенний дождь и грудь земли мягка, а на молодой тюльпан, вышедший наслаждаться теплом и светом солнца, наступит корова, то стебель его скривляется, и он растет криво и кособоко . . .

— Ты к чему это? — спросила, не понимая моего иносказания.

— А к тому, что и у нас с тобой так получилось, наступили коровы на наш тюльпан . . .

ИЗГИБЫ

Наш хутор густо, широко, верст на пять крыл берега болотистой и извилистой речушки Богла. Он и носил название этой речки. Хутор начинался там, где речка, вырвавшись из крутобережной и яристой балки, протекала по равнине и кончался на том месте, где Богла снова сжималась ярами и перерезалась глубокой балкой.

По сторонам широких и прямых улиц, концами упиравшихся в речку, дворы были раскинуты по южному низкому берегу. По той стороне, по подножью бугра с громадным темным курганом против хутора, жидкой и рваной цепью тянулся только один ряд дворов. Вся эта сторона зимою глубоко заметалась снежными барханами и дворы тонули в белых сугробах. Поэтому боглаевцы избегали селиться по северному берегу.

Прозмеившись меж ненаселеных крутых яров и балок с версту, речка вновь текла по низине и, сделав подковообразный загиб, образовала большой ровный полуостров, с узким выходом в степь. Этот полуостров и занимал своим двором зажиточный хозяин Бембе Джалганов.

Казачьего типа деревянный дом под зеленой жестяной крышей, длинная землянка-кухня, амбар и конюшня под красными тесовыми крышами, досчатый баз и лежачая пирамида овечьего сарая, расположенные в тесный ряд, запирали весь выход из полуострова. А громадный круг за дворовыми постройками, обтекаемый речкой и защищенный противоположным высоким берегом, был занят под фруктовый сад, огород и ток со скирдами сена, соломы и половы.

Лучшее место занимало хозяйство Бембе Джалганова, но никто ему не завидовал. Было и большое неудобство. Приходилось жить в стороне от хутора, на отшибе, без соседей. Только такой старательный и хороший хозяин, как Бембе, и мог решиться на это поселение в версте от хутора. Он не мог упустить такое удобное для хозяйства место.

Хоть и было скучно, но к жизни на отшибе супруги Джалгановы с годами привыкли и прослыли в хуторе нелюдимыми. Редко кто, бывало, приедет к ним из хутора по делу, а еще реже бывали там члены семьи Джалганова. Пять громадных и злющих волкодавов внушали хуторским ребятишкам панический страх, и они далеко обходили этот уединенный двор в изгибе реки.

Семья Джалганова была небольшая — муж и жена, дочь и сын. Да двое работников жило в землянке. Густое и аккуратное было хозяйство у Бембе: полсотни отборного скота с десятком пар добрых быков, шестерка хороших лошадей, годных и под седло и в упряжь, три сотни белых овец, сотни десятин ежегодного посева, не считая хозяйственных придатков и мелочей, вроде свиней, птиц, огорода, сада — это не было плохо даже для нашей богатой Бокшурганской станицы. Таких хозяйств можно было насчитать не больше полсотни на всю станицу.

*

— В прошлой жизни был существом безгрешным, а потому в этой жизни счастливым рожден — говорили хуторяне про Замбу, сына Бембе Джалганова. Тихий и миловидный, еще с детства Замба вызывал симпатию каждого, кто его видывал. Когда он стал ходить в хуторскую школу, старательный, опрятный, способный и не шалун, он скоро завоевал любовь учителей. Все классы он прошел с первой наградой.

Только Зермяш, дочь Саладжи с верхнего аула хутора, соперничала с ним в успехах. Но Зермяш была первая шалунья и проказница, а потому она получала всегда награду второю после Замбы. Все три года Замба и Зермяш просидели на одной парте, все годы были соперниками, и много раз пришлось Замбе терпеть от проказницы досадных шалостей. Жаловаться на девочку он стыдился, а драться не любил. Только раз, когда Зермяш незаметно подложила под него прожеванную массу коричневой бумаги, а сама, зажав нос, попросила Замбу приподняться, а потом, с хохотом ука-

зывая на сиденье под ним, заставила дико хохотать весь класс, он дал ей звонкую пощечину. Зермяш, как кошка вцепилась в него, стараясь выцарапать ему глаза, но вошедший в это время учитель оттащил ее в угол. Разобравшись в ее проделке, учитель оставил Зермяш без обеда.

От природы спокойный, вдобавок растущий вдали от хутора и мальчишеских ватаг, Замба держался и в школе особняком, редко участвуя в играх и шалостях товарищей. К тому еще, почти каждый день, привозил в школу и увозил на крупе коня Замбу один из рабочих Джалганова. Другие дети, в грязь ли невылазную, в дождь, в бурю или снег, пробирались в школу и шли домой пешком. Это тоже выделяло Замбу и способствовало его одиночеству. Уже в первый год все в школе знали, что Замба, по окончании школы в своем хуторе, поедет учиться в большой русский город, куда нужно ехать целый день подводой и еще один день машиной, что он там пройдет все науки и будет «большим нойоном». Поэтому хуторские сверстники Замбы еще с детства привыкли смотреть на него, как на отрезанный ломоть.

Привык к этому и сам Замба. Он был привязан к своему двору наотшибе, любил один лазить по своему островку, находя на нем все новые и новые таинственные уголки, дружил со своими громадными собаками, был дружен с сестрой, которая была на четыре года старше его, а пуще всего любил ходить за отцом по хозяйству, где у него был свой любимый жеребенок, свои любимые ягнята-сироты.

Тринадцати лет, как только он окончил хуторскую школу, отец отвез Замбу в Ростов и сдал учителю для подготовки в реальное училище. Большой и шумный город ошеломил сперва мальчика из хутора Богла. Много ночных часов тихо проплакал Замба, тоскуя по родителям, по своему двору и по всем друзьям в нем. Днем, сужая небо, давили каменные громады домов, от каменных мостов болели ступни ног, шум стоял в ушах от городского грохота. Но учился он и здесь хорошо. Привыкнув к городу, большой и многолюдной

школе, он пристратился к чтению, начав с «Робизона Крузе», и начал было развиваться.

В жизни боглаевского мальчика произошел первый изгиб.

*

Многое изменилось на глазах Замбы за несколько лет! Хутор Богла разросся во все стороны так, что край его был в полуверсте от двора Джалгановых. Чаще запестрели по хутору цветные крыши деревянных домов и амбаров, гуще зазеленели сады, по всем изгибам реки раскинулись плантации; с каждым годом богател хутор Богла. Еще гуще и полновеснее стало хозяйство Джалганова. Появился второй амбар. Золотистая гирька и горы ячменя стали залеживаться в закромах годами. Бембе Джалганов с помпой выдал замуж своего первенца — любимую дочь на тройке серых в тачанке.

Но самое важное и неожиданное для Замбы случилось в ту зиму, когда на весну он должен был кончить реальное, а к осени ехать в Санкт-Петербургский университет. Упав на всем скаку с коня на мерзлую землю, скоропостижно скончался его отец. Пожилая мать и большое хозяйство неожиданно оказались на плечах Замбы. Мать хотела, чтобы сын, приехавши домой на Рождественские каникулы, уже не возвращался в Ростов, бросил школу и принимался за хозяйство. С трудом Замбе удалось убедить мать, что необходимо потерпеть еще несколько месяцев и докончить школу.

В вечер перед его отъездом, мать и сестра, приехавшая в гости из другого хутора, приступили к Замбе:

— Отец твой, да будет он в царстве лучших, умер несчастным, не женив тебя и не поласкав внука. Не доведи до такого же несчастья твою мать. Пора тебе жениться. Ты там кончай школу, а мы тут засватаем тебе невесту. Если кого имеешь на примете, то скажи. Жених ты завидный: и ученый, и собой взял, и самостоятельный, богатый хозяин . . .

Замба оказался в большом затруднении. Жениться, действительно, было пора. Все сверстники по хутору давно женаты. К тому же, со смертью отца, необходима была молодая хозяйка — опора матери. Но у Зам-

бы никого на примете не было. С хуторской молодежью он не знался, в Ростове учился из калмыков один, в Чепраках, где были учащиеся калмычки, он долго не останавливался, а только проезжал.

Жизнь на отрубе, его любовь к одиночеству, отсутствие друзей среди молодежи вдруг дали почувствовать неудобную сторону. Двадцатилетний парень, а у него даже нет девицы на примете! Но сказать матери и сестре обычное, в таких случаях, — «знайте сами, я на все согласен» — ему не хотелось.

И вот тут неожиданно пришла на память шалунья Зермяш. Вспомнилась она и вызвала приятное. Ее светлое личико, большие черные и насмешливые глаза, с густыми ресницами и черными бровями, и теперь отчетливо предстали перед его взором... «Какова она теперь?... Ведь ей уже восемнадцать лет, и не слыхать о ее свадьбе. Красивая барышня из нее должна была вырасти. Языкастая была девочка и способная!» — подумал Замба и, с неожиданной решимостью, сказал:

— Если так, то везите раку в дом Саладжи, что в верхнем ауле живет. Знаете?

— Знаем-знаем!... Хорошо, ладно. Девица — ничего! — радостно, в один голос, поспешили ответить ему мать и дочь.

Разговоры молодого человека о семейных делах с родителями у калмыков не приняты. Если мать говорила с Замбой и предоставляла ему право выбора, то только как исключение в виду его «учености». Поэтому между Замбой и матерью разговор на тему о сватовстве был короток и без подробностей. Мать хотела узнать главное, а дальнейшее она знала сама.

Когда Замба приехал домой на пасхальные каникулы, он оказался уже женихом дочери Саладжи. Мать уже делала приготовления к свадьбе. Спеша женить сына, она ускорила процедуру и за несколько месяцев выполнила все формальности, которые обычно растягиваются на год, на два.

Всего несколько месяцев побыло хозяйство без хозяина на женских руках, а были уже заметные упущения, прорехи. Этой весной овцы дали большие отхо-

ды в ягнятах. Не было строгого догляда. Сена едва хватило. Впервые на памяти Замбы, быков во время весенней пахоты кормили половой, а не сеном. Сад не был во время подрезан. Огород не весь засеян. С детства привыкший чувствовать хозяйственный пульс, Замба увидел, что без него хозяйство быстро придет в упадок, а оно было ему мило и дорого. Приходилось выбирать между университетом и хозяйством. Слишком много любви и потного труда вложил в это хозяйство его отец, слишком была горда и счастлива им его мать, черезчур крепкими нитями был связан с ним и Замба, чтобы менять его на что-то другое. И Замба решил в университет не поступать.

Еще один резкий изгиб сделала жизнь молодого Джалганова.

*

Старательно занялся Замба приведением хозяйства в порядок и не сумел за эти три недели повидать невесту. Да и случая удобного не было — у калмыков жених и невеста не могут запросто встречаться. Только во время трех годичных праздников, когда жених обязан быть с визитом в доме невесты, им разрешается на вечеринке видеться. Возможны и случайные встречи, но для этого нужно бегать на хуторские вечеринки молодежи, но Замба на них никогда не бывал.

Дело так сложилось, что до самой свадьбы, которая была назначена на начало июня, когда жених должен был кончить школу, Замба не мог увидеться с невестой. Но это особено его не беспокоило. Свидание не обязательно. Мать, сестра и вообще родственники невестой его были довольны; хвалили ее воспитанность и строгость в добрых, старинных традициях, говорили о ее скромности и трудолюбии. Правда, никто не говорил о ее красоте, но Замба сам знал, что Зермяш не может быть некрасивой девицей.

Испокон веков судьбами парней и девиц распоряжаются у калмыков родители. Хоть и был Замба интеллигентным и русифицированным молодым человеком, но крепкие обычаи среды довлели и над ним . . .

В хуторе была та хорошая пора, когда сенокос был окончен, хлеба еще не созрели, а кони и люди свободны. На свадьбу Замбы съехались все дальние и близкие родственники со стороны отца и матери. Женитьба парня или выдача дочери — это дело всего рода. Каждый обязан принять участие и чем-либо помочь. Замба был любим всеми родственниками. Так недавно и так неожиданно осиротевший, он тем более вызывал к себе хорошие родственные чувства. Несмотря на то, что денег у вдовы Джалгановой было достаточно, каждый родственник старался облегчить ее свадебные расходы.

В саду на островке, на травянистой целинной полянке меж яблонь и вишень, поставили для молодых большую белоснежную кибитку из лучших полстей. Все три тканные шерстяные пояса кибитки были густо усеяны разноцветной махорчатой бахромой. Голубой шелковый балдахин уже висел над местом, где должна быть постель молодых. Дорогой бухарский ковер лежал там, где должны быть сложены сундуки с приданым невесты.

В суете и волнении собирался Замба на свою свадьбу. Всеобщее возбуждение заражало и его. Вороной, лысый, белоногий красавец пятилеток — полукровный дончак, год тому назад купленный за хорошую цену покойным отцом для выездов Замбы, был специально выдержан к свадьбе на овсе и имел хороший уход.

Когда вороного оседлали новеньким офицерским седлом в изящной серебрянной отделке, надели черные пахвы и нагрудники в серебре, и рабочий подвел его к крыльцу, все мужчины залюбовались прекрасным конем Замбы. Конь был на загляденье даже в Сальском округе, в царстве коней. Когда Замба, одетый в хорошо сидящий черный бешмет, туго подтянутый черным кавказким пояском, весь позолоченный в серебряных украшениях, и в изящной казачьей фуражке из лучшего кастора, вышел из дому и, ловко вскочив на беснующегося вороного красавца, загарцовал по двору, все родные восхищенно приветстоввали его. Послышалось:

Эх! . . . Что за конь, что за молодец наш Замба! Слава покойному Бембе, что вырастил такого сына и коня такого приготовил!

Рослый, плечистый, с мужественным чистым и смуглым лицом, с выразительными и умными глазами под правильными густыми бровями, Замба, действительно, был типом симпатичного молодого калмыка. Недаром он был популярным кавалером у ростовских гимназисток.

Во главе двух десятков тачанок, запряженных легкими и подобранными парами и тройками, среди десятка верховых парней, в тихое летнее утро, въехал Замба во двор Саладжи — отца невесты.

Первое, что заметил Замба во дворе тестя, была высокая, стройная фигура девицы в голубом бешмете, в муравьиной тальи стянутая золотым позументовым кушаком, в черной, круглой бархатной шапочке, расшитой золотыми листьями. Она шла со стороны амбара или погреба к дому через двор, но остановилась, чтобы не пересекать дорогу въезжающему свадебному кортежу.

У Замбы чаще забилось сердце. Хоть и давно не видел, но он сейчас же угадал в ней Зермяш. Не шаловливой девченкой-школьницей, а прекрасной барышней предстала она перед ним. Он угадал те же ласковые насмешливые большие черные глаза, обрамленные густой и нежной каймой ресниц. Желтоватобелое лицо цвета слоновой кости, как нельзя лучше гармонировало с черными глазами, под правильными бровями — миниатюрными крыльями распростетой ласточки. Роскошная черная коса змеей блестела по спине.

Встретившись глазами с Замбой, девица чуть заметно приветливо улыбнулась, и ее губы неслышно прошепотали слово приветствия.

Щекочущие мурашки пробежали по телу Замбы, внутренний радостный трепет залил лицо теплой волной крови; он вежливо ей поклонился и тут же удивился про себя, — как это его невеста до сих пор не скрылась по обычаю со двора и как она решается пу-

бличнo показываться ему, да еще здороваться!? Он помнил, что Зермяш росла смелой девочкой, но такого резкого нарушения обычаев он не ожидал . . .

— А хороша твоя шурячка, Замба, что ты скажешь? — проговорил парень, ехавший рядом с ним.

— Какая шурячка? . . . О ком говоришь? . . . — удивленно спросил Замба.

— А та, что стоит там . . . Зермяш, ты разве не угадал ее? Ты же поклонился ей?!

— Зермяш!? Но она — моя невеста!, — чувствуя, как накатывается на него что-то до тошноты неприятное, воскликнул Замба.

Ой, не бредишь-ли, Замба? . . . Твоя невеста Харлаш, старшая сестра Зермяш. Зермяш — твоя шурячка. Разве невеста так показалась бы нам? . . . Это тебе не Ростов! — с удивлением воскликнул товарищ.

Белый свет помутился в очах Замбы. Радость, только что пережитая при виде Зермяш, неожиданно сменилось отчаянием, сознанием того, что произошло в его жизни нечто дикое и непоправимое. Путаница была настолько ошеломляюща, что Замба потерял дар речи и, с силой рванул ворот бешмета, с шумом выпустил из груди весь собравшийся там воздух. С побледневшим лицом он остался неподвижно сидеть на коне, тогда как другие уже слезли и привязали коней к длинной ясли на току Саладжи.

— Жених, что-ж сидишь на коне? Слезай, не робей, на тебя сегодня все взоры, будь молодцом! — громко обозвал его старшина свадьбы, один из старших и почтенных родственников Замбы.

— Дядя, позовите сестру и мать, зятя и сами идите сюда. Имею сказать важное — ответил ему Замба, слезая с коня.

Собравшимся к нему ближайшим родственникам Замба заявил, что они напутали и засватали ему не ту девицу. Зермяш, которую он имел в виду, оказалась его шурячкой, а о существовании у нее старшей сестры, которую ему засватали, он не знал вовсе и в глаза ее не видывал.

Открытие опечалило всех. Все выражали сожаление, но никому не представлялось возможным менять дело. К тому же выяснилось, что на днях и Зермяш просватана в другой хутор. В утешение Замбы все говорили, что и Харлаш девица достойная и понравится ему. Но разговорам положила конец мать Замбы.

— Значит, так суждено свыше. Да будет нам на счастье Харлаш. Разговоры теперь вредны. Никто больше ни слова по этому случаю пусть не произносит. Я засватала для сына Харлаш. Я сжилась с мыслью видеть ее моею невесткой. ее люблю и ничего больше не знаю. В путанице виноват сам парень; он мог назвать имя девицы, а то сказал: «везите раку в дом Саладжи». Он мог знать, что пока не засватана старшая сестра, к младшей не сватаются, если эта старшая не засиделась дальше нормального. Кто-ж знал, что двадцатилетний парень не знает девиц своего хутора? Теперь узел такой завязали, что ни распутать, ни разрубить нельзя. Старшина, прикажи готовиться к вносу угощений в дом сватов.

У Замбы все кипело возмущением, но он видел свое бессилие изменить ход дела. С его желанием уже не считались. Даже если бы он сел на коня и ускакал домой, то и без него невесту привезли бы. Душа его запылала от горя, стройная фигура девицы с лицом слоновой кости и бездонными теплыми очами мелькала перед его взором, но жениться он должен был на какой то неведомой Харлаш.

Калмыки часто дают имена, которые соответствуют внешнему облику человека. Имя Харлаш не мог носить человек с светлым лицом, а только человек, отличающийся особенной темнотой лица, как имя Зермяш не могла носить девица с узкими невыразительными глазами. Поэтому Замба уже заранее мог судить некоторым образом а наружности невесты. Харлаш могла быть девицей только чернолицой и грубоватой.

Тяжелой и лишней канителью показалась ему вся эта свадебная шумиха и все безпокойства последних дней. Видя убитое горем лицо жениха, главного вино-

вника торжества, приуныли и его товарищи. Смолк говор, шутки и смех. Женихова сторона свадьбы, обычно торжествующая, быстро была охвачена странным для посторонних равнодушием, тишиной и вялостью.

Точно во сне, машинально выполнял Замба требующиеся от него традиционные правила. Побывал на приеме свата жениховой стороны, во время которого он сидел у порога, согнув по калмыцки ноги, и почтительно поднес свою долю раки старейшему в доме мужчине и выслушал его напыщенные пожелания счастья и долголетия молодым. В обедах, при обмене подарками, надел из руки тещи черный шелковый бешмет и подпоясался синим шерстяным кушаком, съел традиционный кусок баранины и выпил бульон. Выполнив все, что от него требовалось, когда сваты начали вольно гулять-пить и есть — Замба вышел из дому. До «вечернего полудня» (около 4-х часов) он не был нужен.

Свадебное торжество происходило в большом глинобитном флигеле Саладжи, а в новом небольшом деревянном домике было безлюдно и тихо. Как только Замба вышел из флигеля и направился к своему кошу на току, из дома вышла Зермяш, приветливо улыбаясь, подошла к Замбе первая заговорила:

— Здраствуйте «зять-брат», да будет вам на счастье подарки. Бешмет этот я шила и боялась, что будет велик, но, вижу, как раз. Пойдемте в дом на чашку чая. Эта ваша свадьба так быстро совершилась, что мы даже не успели ближе познакомиться. Но вы меня помните? Помните, как я вам в школе досаждала и как вы раз побили меня . . . Какая я была противная девчонка! . . .

Радостно ее слушая, Замба вошел за нею в дом. В маленькой комнатке, очевидно, комнатке сестер, убранной коврами, иконами и горой подушек, с вышитыми наволочками на широкой кровати из дутого и лакированного железа с металлическими шариками и палочками, был накрыт стол. На белой скатерти шумел никеллированный самовар, стояли стаканы в подста-

канниках, тарелка с печеньем и конфетами и бутылка красного цымлянского вина.

— Я не хотела подавать вам чай в зале, туда заходят старшие. Это наша с Харлаш комната, здесь уютнее, — сказала Зермяш, поймав взгляд Замбы в сторону закрытой двери в залу.

Развязно болтая и весело смеясь, Зермяш налила Замбе чай, придвинула печенье и налила два бокала вина.

— В вашем свадебном подарке не хватает еще одной вещи, разве не замечаете?

— Нет, а что еще должно быть? Я же не знаю ваших обычаев, — впервые заговорил Замба, до сих пор молчавший.

— За поясом должен быть платочек! Но не думайте, что наша мама забыла. Это я упросила ее, чтобы мне самой дополнить этот недостаток. Мама знает, что я зазову вас, — с этими словами Зермяш открыла пеструю шкатулку и вынула шелковый платочек, вышитый желтыми шелковыми нитями. По углам платочка были инициалы его и невесты, дата свадьбы.

— Дорогой моей сестре и затю-брату желаю много счастья! — серьезно сказала она, повязывая ему за пояс свой подарок.

— Милую сестру-шурячку благодарю за симпатичный подарок . . . Эта минута самая незабвенная в моей свадьбе, — искренне ответил Замба, пожимая ее ручку.

За чаем и щебетаньем Зермяш, которая неумолкала, легко переходя с темы на тему, Замба забыл о своем горе, о том, что в хате рядом протекает его нелепая свадьба. Зермяш не только овладела его вниманьем, но и очаровала его милой простотой, живостью разговора и симпатичной наружностью. Невольно и Замба оживился.

— Ну, а когда твоя свадьба, Зермяш? — спросил он, вспомнив, что она уже засватана. Теперь мы с тобой близкие и хорошие родственники, так что между собою будем откровенны, — продолжал Замба.

— Не раньше года. Не может мой отец в год две свадьбы сыграть.

— А как жених . . . нравится? . . .

— Что я могу сказать? . . . Меня не спрашивали. Видела его я всего раз на весеннем престоле в хуруле. Парень как парень. Очевидных недостатков нет. Мал ростом, зато лицом пригож. Больше я ничего не знаю. Чужой парень, незнакомый. Такова наша девичья доля. Ведь и вас Харлаш не знает. Я ей рассказывала про вас, да и то по школьным годам. А где вы видели Харлаш или вас также не спрашивались? . . .

На языке Замбы завертелись было излияния всего, что с ним случилось, но, подумав, сдержался. Правду он нашел тут излишним, и он тихо сказал:

— Твою сестру я ни разу не видел и не знаю, какова она.

— Правда?! Я этого не думала. Значит, и вас за глаза! Впрочем, верно, так и надо! Ведь, вы не выходите из своего острова! И как вам не наскучивает такая жизнь? Наша хуторская молодежь так весело живет! Часто вечеринки, поем, танцуем, игры затеваем, все между собою знакомы, а вы до самой свадьбы не показались на хуторе. Я вас часто вспоминала. А как мне хотелось ехать с вами в Ростов, вместе учиться! . . . Но родители нашли, что на девушку нет смысла тратиться, все равно чужие люди увезут, и так будет хороша. Скажите, правильно ли это? . . . Есть же родители, которые отдают и девушек в большую школу? . . .

Целых три часа просидел Замба в разговоре с Зермяш и не заметил, как двор постепенно заполняется пьяными людьми, как давно уже беспрерывно льется пение и в открытое окно врываются гики танца.

— Скажи, Зермяш, правду, хоть и поздно спрашиваю, — решился, наконец, Замба задать занимавший его вопрос, — сестра твоя такая же, как ты?

— Харлаш?! Нет, сестра другой человек. Меня мама часто ругает за мой язык, за характер, за то, что люблю рядиться. А Харлаш у нас человек очень добрый, молчаливый, застенчивый, мягкий сердцем. Слова резкого никому не скажет, хозяйствовать она умеет хорошо. Куда там, Харлаш далеко лучше меня. А лицом и видом? . . . Ну, «не лицом муж счастлив, а умом», —

говорится у нас. Да и лицом наша Харлаш не урод, но на меня не похожа, — уклончиво отвечала Зермяш, подчеркивая лучшие качества сестры.

В это время раздался под окном топот лошадиных ног и шуршанье колес. Зермяш выглянула в окно и побледнела. Нежные крылья ее носика задрожали и порозовели, терновые очи заблестели слезой, и она, упав головой на стол заплакала.

— Почему плачешь?! В чем дело?! — забеспокоился Замба.

— Идите уж; поехали за сестрой; увезут ее скоро из-дому; жалко, — проговорила она, продолжая плакать.

Замба услышал, как его товарищи, шумно перекликаясь в общем гаме, ищут его по двору, ведя его коня. Он поблагодарил Зермяш за угощение, за подарок и доброе отношение, попросил непременно и чаще бывать у них и выбежал.

Невесту свою, покрытую желтым шелком, во весь девичий голос ревущую и подсаживаемую силой на коня, Замба не смог увидеть и при самом увозе.

Только когда он приехал домой и подъехал к своей кибитке, впервые увидел Харлаш. Девица была до черноты смугла, круглолица, росла и полнотела. Несмотря на придавленную специальным корсетом грудь, затягнутую талию, ее женские формы явно выпирали из под черного шелкового бешмета. Со скучающим выражением на некрасивом лице, с маленькими глазенками и тупым носом, со следами слез, стояла она у правого порога, ожидая церемониального ввода ее в кибитку. Вокруг нее толпились девицы и молодицы, и некрасивее ее не было ни одной.

Расслабляющая неприятность разлилась по телу Замбы от вида своей невесты. Ничто в ней, хотя бы отдаленно, не напоминало Зермяш, которая за три часа проведенные с нею, властно заняла его думы.

Отдав коня работнику, Замба вбежал в дом, заперся в своей комнате, упал на кровать ничком и зарыдал . . .

На дворе раздавались радостные голоса, там и сям лилась песня, слышно было, как приехали и уехали ночью сваты, слышал Замба, как молодицы искали его,

а он все лежал в безрадостных думах. Только к полуночи нашли его, заставили открыть дверь, и молодицы повели его в кибитку к невесте, уже обряженный в дамский наряд . . .

Жизнь Замбы сделала еще один изгиб. Начиналась безлюбовная, скучная, однообразная семейная жизнь. Характеристика, данная сестре Зермяшей, была точна. Зная, что Харлаш ни в чем не виновата, что она старается угодить ему во всем, Замба научился молча терпеть жену, не обижая ее.

Только и радости бывало, когда приходила к ним в гости Зермяш, вносившая в их дом смех, говор и живость. Видя это, Харлаш и тут старалась угодить мужу, все чаще вызывая к себе сестру под разными предлогами.

Об ошибке матери, о своей любви к Зермяш никогда Замба ей не сказал. Они были уже родственники и такие разговоры между ними были бы неуместны. Молчала и Зермяш. Но происшедшая роковая путаница при сватовстве, взимные чувства Замба и Зермяш, ни для них самих, ни для посторонних не были секретом. Все знали, что положение создалось неизменимое, случайно запутавшийся клубок не распутать, ни разрубить нельзя.

Через год, в качестве одного из почетных лиц среди родственников невесты, Замба гулял на свадьбе Зермяш и сделал ей самый лучший и дорогой подарок — пару вороных дончаков в новенькой тачанке. Для близкого и богатого родственника такой подарок был неудивителен. Было несколько странно, что Замба так горько льет слезы, выдавая замуж сестру-шурячку. Но хуторяне знали, что происходит в душе Замбы.

В том году вспыхнула великая война. Она внесла для жизни Замбы новый неожиданный изгиб.

*

Народы России хлебали из полной чаши революции.

Громадный калмыцкий беженский табор, где смешались, как птицы на перелете, жители всех станиц и хуторов, в близком тылу подвижного казачьего фрон-

та зимою 1920 года занимал большое мужичье село — Лопанка.

Калмыцкий конный полк Донского корпуса спешно приближался на ночлег к Лопанке, после катастрофически неудачного похода донской конницы на Торговую, когда внезапно налетевший на Лопанку корпус Буденного занимался резней калмыков в беженском таборе, преимущественно стариков, женщин, детей и инвалидов.

Горы окровавленных трупов нашел здесь наутро калмыцкий полк после ухода буденновцев. Из многотысячного табора избежала пленения лишь половина. Спаслись только те, кто успел выступить в последнюю минуту перед приходом большевиков или кто сумел удачно спрятаться до ухода их. Вся остальная плененная масса была вырезана.

Есаул Замба Джалганов, командир сотни калмыцкого полка, с двумя казаками, неутомимо раскидывал кучи трупов, сложенных по мужичьим дворам, базам и сараям, ища жену и сына.

При нем была Зермяш, нашедшая среди убитых своего мужа, находившегося на поправке, после ранения, среди беженцев. Зермяш спаслась тем, что дала квартирной хозяйке пять золотых монет и обещала еще пять, если она ее хорошенько спрячет и спасет от большевиков. Хозяйка положила ее в постель под перинами, а впереди легла сама, притворившись больною тифом.

Много-много попалось Замбе трупов его хуторян, станичников и просто знакомых из соседних станиц, но Харлаши и сына он все не находил. Уже казалось ему, что они избегли смерти и выехали с беженцами. Но Зермяш уверяла, что сестра не могла успеть выбраться, так как жила с того краю села, откуда внезапно вошли красные.

Наконец, в предпоследней партии трупов, в беспорядке разбросанных по двору мужика, у самой стенки мелькнула в глазах Замбы хорошо знакомая зеленая шуба. В два прыжка очутившись над нею, Замба угадал Харлаш. Она лежала на правом боку. Левая рука

позеленевшими пальцами упиралась в снег. Правая была положена под голову ладонью к щеке. Из разбитого левого виска, стекая вниз, кровь запеклась сосулькой, закрывая глаза и переносицу.

— Бедная, прекрасная моя Харлаш, — прошептал Замба и, приподняв ее верхнюю руку, раскрыл полу шубы. Не то стон, не то мычанье от нестерпимой боли вырвалось из груди Замбы. Он резко выпрямился, отшатнулся и машинально правой ладонью прикрыл глаза. Был он старым обстрелянным воином и не трусливым офицером. Много раз видывал смерть, сам трижды был ранен в двух войнах, в каждом бою подвергал жизнь опасности, но и то его сердце содрогнулось пред тем, что он увидел: под рукой Харлаш, под полой ее шубы, прижатый прямо к голому животу матери, лежал его маленький сын, в одной рубашонке, и с размозженной головой . . .

Присев на корточки над трупом жены и сына, Замба громко разрыдался, беспомощно мотая головой и скрежеща зубами. В стороне от него всхлипывала Зермяш, не имея сил подойти и посмотреть на сестру и мальчика.

Казалось, что Замба не встанет, не отойдет от трупов жены и сына, но многолетняя служба и сознание ответственности вывели его из положения. Подошел к нему вахмистр его сотни и, взяв под козырек, спросил:

— Прикажете, господин есаул, рыть отдельную могилу или разрешите похоронить в общей? . . .

— В общей . . . Что делает сотня, Урсяков? . . .

— Хороним мертвых. Уже четвертую яму заполняем.

Замба медленно поцеловал жену в окровавленный и мерзлый лоб, поцеловал сына в посиневшее лицо, взял его на руки и, пошатываясь, вышел со двора. За ним два казака понесли Харлаш. Держась за полу сестриной шубы, шла с ними и Зермяш. Ее муж был уже похоронен.

Когда яма была заполнена трупами и согнанные для работы мужики стали засыпать их землею, Замба, до сих пор неподвижно стоявший у ямы, резко повернулся и пошел к коню.

Пошла за ним и Зермяш. Когда Замба, приняв коня от вестового, хотел было сесть, Зермяш спросила:

— А как быть мне, Замба? . . . Муж убит . . . Вы один . . . Никого . . .

Зермяш осеклась и замолчала. Дико вытаращенными глазами смотрел на нее Замба. Не то страх, не то крайнее удивление выражал его взгляд. Долго молчал он, что-то раздумывая.

Из густых ресниц, поднявшихся не то в страхе, не то в мольбе, смотрели на него большие черные глаза Зермяш, которую еще до этого дня, все годы неизменно продолжал в тайне любить. Но в эту минуту, когда не по их вине, несчастье снесло между ними все преграды, и они, любящие друг друга, были свободны, она ему показалась далекой и чужой. Молчаливая, скромная и по собачьи преданная Харлаш, погибшая обнимая сына, сразу вытеснила из души Замбы всех и все на свете. И кощунством показалось ему думать после такой ее гибели о жизни, о любви.

В жизни Замбы Джалганова произошел еще один неожиданный изгиб.

— Какая теперь жизнь, Зермяш? . . . Я хочу только мести своими руками. За мою Харлаш и сына я сниму много голов, пока не положу свою. Если ты хочешь снова налаживать жизнь, то иди в табор беженцев . . . Меня забудь . . . Я обречен . . .

— Сотня готова, господин есаул! — доложил подскакавший вахмистр. Замба сел на коня и поехал к сотне.

*

Целый день с переменными успехами, шел бой между казачьей и красной конницами у станицы Егорлыцкой. Громадные массы всадников густыми лавами то накатывались друг на друга, то расходились, там и сям черными точками оставляя на поле убитых людей и лошадей. С тылов вырывали жертвы в лавах пушки.

Калмыцкий полк с утра был на левом фланге и, при поддержке бронепоезда, готовился к встрече значительной колонны конницы, явно намеревающейся об-

рушиться на этот фланг казаков. Когда эта группа красной конницы отошла и атаки красных на правом фланге участились, калмыцкий полк перебросили сюда, на запад от Егорлыцкой.

Когда густая лава красных, вися на хвосте всадников Барбовича, спустилась с бугра, навстречу ей вылетела лава калмыцкого полка.

Сотня Замбы Джалганова была лучшей в полку. Ее атаки, стремительность и строй ее лавы командир полка полковник Тепкин издалека отличал от атаки и лавы иных пяти сотен. Интеллигентный, спокойный и храбрый, пользующийся в своей сотне большим авторитетом, и сам есаул Джалганов был лучшим офицером в полку.

И на этот раз сотня Джалганова сжатой лавой быстро оторвалась вперед. Пока красная лава остановилась, повернула и развила обратный бег, сотня Джалганова была уже на хвосте врага.

Полковник Тепкин, скача со штабом впереди полка посредине, заметил, как крупная и приметная фигура Джалганова, в черной дубленной шубе, в серой папахе, на здоровом темно-сером коне, первой дорвалась до задних всадников красной лавы. «Ну, Джалга отведет душу на краснюках после Лопанки за жену и сына». — подумал командир.

Когда буденновцы, то там то сям оставляя порубленных, оторвались от лавы калмыцкого полка, и сотня Джалганова остановилась, командира ее не оказалось. Пущенный вслед за красными разъезд нашел Замбу Джалганова в полуверсте от того места, где остановилась лава его сотни. По пути лежали четыре красноармейских трупа с характерными следами джалгановской шашки. Замба любил рубить не сверху вниз с потягом к себе, как рубит большинство, а по горизонтали, как снимают верхушку арбуза. Молниеносный удар наотмашь справа налево и меткий укол влево, прямо в горло, был излюбленным приемом Джалганова.

В нескольких десятках шагов от красноармейских трупов, с тремя пулевыми ранами в живот и с шашеч-

ной раной на голове, лежал уже остывающий труп есаула Замбы Джалганова.

Земная жизнь Джалганова сделала последный изгиб . . .

ЛЮБОВЬ ОПОЯСАННАЯ

Моей жене Доржиме Бадминовне посвящаю этот разсказ.

Долма оказалась единственной девочкой в станичной школе. Среди шумной оравы драчливых мальчиков, сиротой-барашкой среди злых волченят она почувствовала себя.

Только Дорджи Одьбинов, единственный из мальчиков, не участвовал в драках и шалостях товарищей, Чистенький и смирненький, заложив руки в карманы черного кафтана, разрумянившись от прохлады пухленькими щечками на чистеньком личике, степенно шел он домой в стороне от воюющих мальчиков.

Поэтому маленькая робкая смуглянка Долма, часто шмыгая носом, молча приблизилась к Дордже и пошла с ним рядом в своем зеленом ватном кафтане, с черной котиковой круглой шапочкой на остриженной копне смоляных волос.

Дорджи не прогнал ее, не толкнул и ножку не подставил, как сделали бы другие. Изредка бросая на нее мягкие и добрые взгляды, он молча прошел с ней весь путь от школы до свого двора.

Когда он повернул с улицы к своему дому, Долма благодарно и ласково улыбнулась ему, и оставшийся до своего двора квартал пробежала бегом. С того разу у них молчаливо наладился порядок — вместе ходить из школы домой.

Они были дети. Второкласснику Дордже Одьбинову, сыну бедных родителей, было двенадцать лет. Первокласснице Долме Авелькиной, дочери богатого конно-заводчика, десять лет. Они подружились. Весь путь от школы до двора Одьбинова они проделывали в тихих детских разговорах.

Так провели они две зимы. На третью зиму они не увиделись. Дордже кончил школу. Как первого ученика, станица определила его учиться дальше на общественный счет, и отец отвез его далеко-далеко в русс-

кий город, куда нужно день ехать на лошадях и целые сутки поездом.

А родители Долмы в тот год переехали в свою кашару за сотню верст от станицы и наняли Долме домашнюю учительницу.

Друзья — Долма и Дордже — надолго расстались. Но когда Долма вспоминала свою далекую станицу, то она всегда думала о краснощеком мальчике с приветливыми глазами и чистым личиком. А Дордже, очутившись в большом шумном русском городе и, скучая по своей тихой станице на Салу, часто видывал себя рядом со смуглой, как галченок, словоохотливой Долмой с лучистыми черными узкими глазами.

Они были дети, но и в детских душах закрепилась привязанность друг к другу.

*

Прошло десять лет. Много изменилось за это время в тихой и маленькой Батлаевской станице на Салу. Умножились красивые разноцветные деревянные домики, почти всюду протянулись деревянные частоколы, зазеленела станица садами, гуще стало на гумнах и во дворах. На месте покосившегося маленького домика, куда бегали учиться Долма и Дордже, стояло прекрасное каменное здание с большими окнами, с садом и огородом, с качелями и высокой лестницей во дворе. В хуруле, окруженный легкими деревянными домиками гелюнов, возвышался большой каменный златоглавый храм. Не по годам, а по месяцам богатела и ширилась станица.

Изменились и люди. Из маленькой и худенькой галченки Долма прврагилась в стройную миловидную барышню. Она была хорошо грамотна, бойка на язык, но строго по старинному воспитана доброй матерью в степной глуши, в кашаре на Салу. А Дордже кончил реальное училище и был уже старшим юнкером. Он был высок ростом, грубоват лицом, до черноты смугл.

Тот год был годом великих разрушений, как говорили батлаевцы. «Весною царь сошел с трона и передал царство. А брат испугался и пустил на трон целую

кучу аблакатов, болтунов и жуликов. К концу лета вышли из тюрьмы тысячи арестантов-каторжан. Они разобрали ружейные склады, забрали из фабрик пушки и, выгнав из дворца «аблакатов», заняли трон. И пошли гулять по стране разбойники. Пошли грабежи, запылали зарева пожаров и по степным уголкам, по хуторам и кашарам» . . .

В ту осень вернулась из кошары в станицу Долма и стала лучшей невестой в станице. После ростовских боев, приехал в станицу и юнкер Дордже Одьбинов. Он уже год был женихом дочери соседа. Через месяц предстояла его свадьба.

Но не это Дордже занимало. Засватали ему невесту без его ведома, по старинке. Девицу эту он не любил. Она была проста, робка, молчалива. От жениха, по калмыцкому обычаю, хоронилась. И собою она была незавидна и лицом некрасива.

Он узнал, что Долма прекрасной барышней вернулась из степи. Его тянуло посмотреть на друга детства. Проходя мимо их двора, он мельком увидел ее в заборную щель и услышал ее голос. С той минуты еще больше потянуло его к ней.

Проходя по своему простором двору, или по густому старому саду, Долма невольно бросала взгляды в сторону двора. Одьбинова. От подруги и двоюродной сестры по матери, Бони Цагановой, знала она, что Дордже — лучший в станице кавалер, стройный, обходительный с девицами юнкер . . .

Однажды, в сумерках зимнего дня, маленькая десятилетная сестренка Долмы, таинственно оглядываясь кругом, подала ей письмо в голубом конверте. То было записка от Дордже.

«Я узнал, что Вы здесь. Очень мне хочется увидеть Вас и посмотреть — какая Вы стали. Много лет прошло, много воды утекло в Салу с тех пор, как мы вместе с Вами бегали в школу, но я не забыл Вас. Хочется увидеть Вас снова, познакомиться, поболтать. Если Вы добрая барышня, сообщите мне, когда я могу увидеть Вас без присутствия старших, чтобы свободно поговорить. На вечеринках станичной молодежи, говорят, Вы

не бываете по гордости. А я думаю не так. Из всех школьников, помните, Вы подошли тогда ко мне и пошли рядом. Сделайте мне и теперь исключение. Простите меня за смелость, но я очень и очень прошу не отказать в моей просьбе». С почт. уваж. Вас юнкер Дордже Одьбинов.

Дуновением легкого, мягкого ветерка прокатилась по сердцу Долмы эта записка. Она растерялась и не знала, что нужно делать в таких случаях. Советницы-матери уже не было в живых. Первою мыслью было — побежать с запиской к Бони Цагановой, которая росла в станице и была опытнее ее, но, подумав, раздумала. Решила, было, не отвечать, но ей так хотелось увидеть опять того симпатичного розовощекого мальчика, который за девять лет не исчез из ее памяти. Она вырвала листок из черной тетради и карандашом набросала:

— «По вечерам я не выхожу из-дому. Завтра, после обеда, перелезьте через ограду нашего сада, дойдите до середины и подождите за беседкой. Я после обеда, когда старшие будут отдыхать, выйду к Вам на минутку». Долма Авелькина.

Проворная и исполнительная сестренка с радостным и таинственным видом побежала с запиской в сторону двора Одьбинова . . .

*

Задерживая дыхание, Долма старалась подойти к беседке спокойно и равнодушно, но колотилось бурно непокорное сердце и заливало лицо горячей волной. Когда она обогнула беседку, здоровый, грубоватый, смуглый молодой человек густым басом рявкнул: «Здраствуйте, Долма!» — она невольно тихо ахнула и, недоуменно глядя на незнакомого человека, спросила: «Вы-ли, Дордже?» — «Я-я! . . . Разве не угадываете, забыли?» — радостно отвечал Дордже, протягивая ей руку.

— Ой, Боже, как же вы изменились! . . . А я шла и думала о том мальчике, с которым бегала в школу, а вы — здоровый, как мужик, — разочарованно отвечала Долма.

— Да, времена меняются, а с ними и люди . . . Изменились и Вы, Долма. Кто бы в Вас угадал ту маленькую худенькую девченку, что бегала со мной рядом в школу, боясь злых мальчиков. Вы стали прекрасная невеста . . . только чья . . . Кто тот счастливец?! . . .

— Я!? Я еще не засватана. Это у Вас, говорят, скоро свадьба, — с улыбкой ответила Долма.

— Это правда, но ничего. Невеста мне не по сердцу. Засватали ее без моего согласия мои родители, по старинному обычаю, не спрашиваясь молодых, а то они забыли, что я — интеллигентный человек, мне нужна любимая жена, друг, а родители ищут рабочие руки.... Беда со стариками! . . .

— Ну, теперь уж поздно вам об этом говорить. Раз подарки покроили и через месяц свадьба, то ваша песня спета . . . — подтрунивала над ним Долма.

— Нет, еще не спета! Я докажу, что дело касается меня, и я только должен решать вопрос. Если только вы позволите, я расстрою эту свадьбу! — воскликнул неожиданно Дордже.

— Я!? . . . При чем тут я!? . . .

Дордже смутился, покраснел и, то снимая и надевая на одну руку перчатку, заговорил:

— Видите, Долма . . . я всегда представлял, т. е. думал о вас, как о своей невесте. Не моя вина, что мои родители, как бедняки, побоялись поехать со сватовством к вашим родителям, к богатым коннозаводчикам. Я все время думал о вас, а теперь, как увидел, я готов на все. Скажите только одно слово, и я все расстрою . . .

— Что Вы? Бог с Вами! . . . Разве накануне свадьбы можно заводить такие речи? Если говорить правду, то и я не забывала вас . . ., как только подумаю, бывало, о нашей станице, так сейчас и вас вспомню. Но теперь уже поздно нам об этом говорить. За месяц до свадьбы другую невесту кто ищет, где это бывало? . . . Это будет неслыханный скандал! Какие разговоры пойдут, песни сочинят! . . . На такой скандал я ни за что не пойду, отца не опозорю . . .

— Постойте, Долма! . . . Вы говорите об отце, о лю-

дях, а как же вы? . . . Неужели так и не подумаем о себе? — воскликнув Дордже, перебивая Долму.

— Ну, значит, судьба была такова. За отпущенную черту доли не перешагнешь, говорится — ответила Долма, ломая в руке сухую ветку.

Дордже поник головой.

— А вы, Долма, все-таки, подумайте . . . А потом мы еще встретимся. Все то, что вы говорите, это предрассудки, отсталость, по таким обычаям жили наши бабушки. Уже наши станичные девицы так не думают, как вы! . . . Вы выросли в глуши под влиянием старой матери. Ведь теперь новое время, выросли новые люди. Ради своего счастья мы должны уметь рвать прелые путы старых обычаев! . . . Скажите, зачем нам портить свою жизнь! Я люблю вас, вижу и вы хорошо ко мне относитесь, так зачем нам кривить путь нашей жизни, боясь каких-то разговорчиков и уличных песен? . . . Пусть поют! . . . — горячо продолжал настаивать Дордже.

— Так нельзя, Дордже . . . Подумайте о той, ни в чем неповинной девушке, которая уже привыкла в думах видеть вас своим мужем, а тут, вдруг, я отыму у нее жениха! . . . Нет, на это я не согласна. Я больше не буду думать о вас, а вы женитесь на своей невесте и не бунтуйте зря . . . Прощайте, будьте счастливы, а мы с вами останемся добрыми друзьями, — с этими словами протянула Долма руку.

Потом она резко повернулась на каблуках, отпечатывая в мягкой земле глубокий след, и, понурив, голову, быстро пошла к дому.

С глазами, полными слез, Дордже остался стоять на месте . . .

*

Коротки зимные дни. Быстро мелькают они один за другим. Скоро пролетело время, и до свадьбы Дордже осталась одна неделя. Еще три раза просил Дордже свидания у Долмы, но записки остались без ответа. Напрасно к Долме приставала сестренка: «Пиши ответ, а то он не даст мне конфет»!

Грустные дни переживала Долма. Дорджу она любила давно, еще с детских лет. Любовь к розовощекому мальчику быстро, с первых же встреч, перешла я любовь к стройному, длиннополому юнкеру в серой папахе. Узнав, что и Дордже ее любит, вся душа потянулась к нему. Но до боли щипала она себя, кусала до крови губы, и упорной волей глушила чувства.

До свадьбы Дордже она решила его не видеть. Боялась его. А когда до свадьбы осталось всего три дня, она окончательно потеряла покой и не могла спокойно усидеть дома со своими думами. Тогда она пошла к подруге, к Бони Цагановой, чтобы при помощи ее веселья и рассказов избавиться от липких мыслей.

От двора Авелькина до двора Цаганова можно было идти двумя дорогами: открыто, по улице станицы, скрыто, по берегу Гон-Гол. В болтовне с подругой, опоздав на обед, торопливо шла Долма домой по берегу речки. Вдруг она услышала догоняющие ее энергичные шаги и слабый звон шпор. Невольно оглянувшись, она встретилась глазами с Дордже.

— Долма! . . . На минутку! . . . — услышала она его умоляющий голос.

Закружилась у Долмы голова. Смутно сознавая, что, если не побежать, силы и разум оставят ее, закусила она нижнюю губу до боли и с силой рванулась всем телом, точно оторвавшись от клейкой почвы, легкой серной побежала вперед . . .

Дордже простонал и остался стоять на месте, с каким-то отвращением глядя на густую и мутную воду речки. Он видел, что счастье его жизни стремительно убежало от него и что ничего не остается, как покориться воле родителей, законам и обычаям своей родной среды . . .

Через неделю Батлаевская станица гуляла на свадьбе юнкера Одьбинова. Был темный, сухой и холодный зимний вечер с густым бисером зеленоватых звезд на черном небе. Со стороны двора Одьбинова несся неясный гул голосов, порою долетали обрывки песенного мотива, и из окон землянки светились огоньки.

Накинув на себе теплый енотовый тулуп отца, стояла Долма на крыльце своего дома. Она смотрела на огни в окнах землянки Одьбинова. Глубоко, до боли в груди, вздохнув, лила она тихие горячие девичьи слезы, и завидовала той, которая, под песни и приветственные слова, вошла нынче в ту убогую землянку . . .

А через неделю пришли в дом Авелькины сваты, и родные Долмы выпили за нее раку от сватов пожилого, но славного боевого офицера.

*

Была весна. Цвела степь с прежней роскошью. Поднялись и заволновались хлеба на нивах. Но в ту весну бороздили по ним отряды, топтали кони, колесили по ним беспощадно чужие люди, рыли по хлебам окопы. С тяжкими боями казаки и калмыки освобождали донские степи от красного захвата.

Хорунжий Дордже Одьбинов был в молодом 3-м Калмыцком полку в лагере Персияновке, Жена его была с ним. Жил он с нею без любви, но мирно. Если не Долма, то ему, как будто, было все равно, с кем жить.

Жених Долмы, командиром лучшей сотни, бился в рядах Зюнгарского калмыцкого полка, и неслась по станицам слава о нем. Летом должна была состояться их свадьба.

После свадьбы Дордже, Долма скоро взяла себя в руки. К жениху своему любви не чувствовала, но всюду она слышала — какой он хороший и достойный человек. Хоть и старше ее был на двенадцать лет, но был он еще моложаный и ловкий офицер, и Долма примирилась с мыслью быть его женою.

Настало скоро и лето. До свадьбы Долмы оставалось дней десять. Родные лихорадочно шили, закупали и готовились к торжеству. Однажды сиделец из станичного правления принес Долме письмо в изодранном и засаленном конверте.

Это было неожиданное письмо от Дорджи. Письмо было большое, на шести больших страницах. Оно было проникнуто грустью неудовлетворенной любви и

сетованиями на судьбу. Одно место особенно произвело впечатление на Долму, и она повторно читала его:

« , . . Мы с вами погубили хорошую чистую любовь, которую несли наши сердца с юных лет до сих пор. Большое, оглушительное счастье, ликующая радость предстояли нам от взаимной гармонии чувств, но мы с вами, окутанные предрассудками, опоясанные жгутами старинного быта и обычаев, заключенные в тиски обывательских пересудов, исказили и исковеркали нашу жизнь. В результате — я женат на женщине, которую не могу еще полюбить; трогательная забота ее и старания мне понравиться, меня раздражают. Только в темноте, когда не видно ее лица, когда она молчит, я ласкаю ее, воображая, что это — Вы, Долма . . . Скоро Ваша свадьба, Ваш жених вас обожает. Иначе и не могло быть. Но и Вы (а я в этом глубоко уверен!) будете жить с ним так же, как и я с своей женой, только покрепче опоясанная предрассудками. Вы не подадите вида . . . А кто в этом виноват? Вы, которая так ревниво схватились за пояс приличия, я, который не сумел Вас настолько увлечь, чтобы заставить Вас на смелый шаг, или мои родители, которые, боясь своей бедности, не решились поехать со сватовством к коннозаводчику? . . . Или виноваты эти наши устаревшие путы обычаев, которые в последнее время все чаще и чаще стали причиной несчастья молодых сердец?» . . .

Троекратно прочитав это место, глубоко вздохнула Долма. Она утерла невольную слезу и читала дальше: «Скоро Ваша свадьба. Как Ваш первый друг, которого Вы помните и образе румянощекого мальчика в черном кафтане, посылаю Вам от души мои добрые пожелания. Пусть пошлет Вам Господь душевное спокойствие, мир и счастье. А я в этой жизни не забуду Вас в образе той черной галчонки, которая тогда робко подошла ко мне и пошла рядом. Умирая же, буду молить Бога, чтобы в новом рождении, в новом цикле жизни, он соединил нас. ДОРДЖЕ».

От конца письма нашло на Долму какое-то спокойствие, как будто благополучно разрешился для нее ка-

кой-то сложный и мучительный вопрос, Спрятав письмо в свою девичью шкатулку, она вошла в молельную комнату и, задымив перед Буддой душистый ладан, и опустилась перед божницей на колени . . .

«Боги, множество святых на небе, дух моей мамы, дайте мне счастье . . . Мама, я не сделала того, что хотелось сердцу, но что могло рассердить тебя . . . Так благослови меня, твою любимую дочь . . . Помоги мне . . . полюбить моего жениха и быть ему хорошей женой, ибо он хороший человек» . . . — так молилась Долма все больше и больше успокаиваясь.

1936.

БАСАНКИН ПРОРЫВ

Аюлский хотон был старый. Затерянный в степном просторе, вдали от людных станиц, он жил особым мирком. Крепок нравом и закостенелым в обычаях был здесь народ. Три десятка семей, чередуясь в поколениях, издавна выращивал многотысячный табун хозяина. Все семьи хотона переплетены родством, кумовством или связаны давними узами добрых соседей. На глазах стариков появлялся, рос и мужал молодняк, и на глазах детей старели отцы и дряхлели деды.

Давно так повелось у аюлцев, что для вошедших в лета сыновей невест далеко не искали, коль девицы были в своем хотоне. Так было надежнее: каждая была известна с седьмого поколения, как известен был в табуне кажный жеребенок, принятый на руки. Но нет воды, где не было бури, где налетный ветер не зарябил бы неподвижную гладь и не зашумел в камышах.

С Басанкой, молодым табунщиком, приключилось большое горе: истекал уже целый год, как отец его побывал с сватовством у соседа Церена и получил твердый отказ, а Басанке кажется, что лучше румянощекой, алогубой смуглянки Ниме, с пышной косой и муравьиной тальей, нет на свете девицы. Заиграет-ли Ниме на вечеринках на балалайке, песню-ли с подругами затянет, затуманится у Басанки разум, с чесущейся болью замрет сердце, дрожь пробежит по телу и непроглотный комок застрянет в горле.

Жизнь не стал Басанка мыслить без Ниме с черным пламенем из-под густых ресниц. Но парень Басанка незавидный. Он черезчур застенчив, молчалив, лицом грубоват, не по летам велик и вообще увалень — даже с неука падает на потеху сверстникам. Поэтому не диво, что и Ниме и родители ее не благоволят к Басанке, хотя плохого про него ничего не скажешь.

Но какая любовь мирится с преградой? Не помирилось и сердце Басанки. Взялся он сам устроить свою судьбу. Забрав вперед целое полугодовое жалованье, он богато оделся. Стал хрустеть лаком сапог, в лучшее сукно оделся, серебром черненым подпоясался, выез-

дил хорошую кобылу, к удильным кольцам привесил легкие крученые стальные кольцы, нежно позванивающие под шаг нарядной кобылицы.

Увы! Не улыбается ему Ниме, никогда не бросает ласкового взгляда. Зря издержался Басанка, только в насмешку людям.

Девичью любовь нехорошо вызывать искусственно, силой чародейства. Фальшива, нездорова и кратковременна такая любовь. Счастья она супругам не приносит. Это все равно, что напоить человека пьяным и обокрасть сонного. Но и на это пошел Басанка.

Рубль серебром он заплатил бабке Козырихе из хутора Сысоева-Крученого за бутылку нашептанной колодезной воды, чтобы опоить и приворожить к себе Ниме. Не помогло. Чепраковский казак Локтионов за трешницу наговорил ему щепотку озерной крупнозернистой соли. С великими надеждами тайно всыпал Басанка эту соль в кипящий чай на таганке Церена. Строго вычитала мать Ниме за пересол чая, но в пользу Басанки чародейство не было. Сердце Ниме по прежнему было застегнуто на все пуговицы для Басанки.

А время шло. Уже пошли слухи, что другой сосед, сам старший табунщик, собирается в дом Церена с сватовством. Сын его Напур, ровесник Басанки, был парень славный в хотоне — наездник лихой, арканщик меткий, танцор, весельчак и лицом миловидный. К тому же, он знал грамоту и готовился со временем заменить отца и стать старшим табунщиком.

На хотонных вечеринках молодежи, не раз с тоскою в сердце замечал Басанка едва уловимые признаки симпатии между Напуром и Ниме: когда играли в прятку кольца и Напур бывал разносчиком, то кольцо чаще всего оказывалось в зажатом кулачке Ниме; дойдет-ли очередь танца до Напура, Ниме старательно, с увлечением сыграет ему самый лучший мотив и ни для кого его не повторяет; они чаще, чем другие обменяются за вечер танцами; и еще замечает Басанка, что Ниме передает танец Напуру не как попало, а непременно в левое плечо, а под левым плечом — сердце!

Никто не знает, как часто плакал от горя Басанка во время ночных дежурств при табуне под собственные жалобные песни о неразделенной любви.

Когда разговоры, что Ниме станет невестой Напура стали в хотоне общими, Басанка заметался, как хорек в силках. Прослышал он, что в мужичьей слободе Воронцовке живет старая колдунья-цыганка, которая знает всякие тайны. Положив в карман золотой, Басанка поехал. На цыганку эту противно было смотреть. С глубоко впавшими кошачьими глазами, с длинным и гнутым, как клюв, носом на костлявом темном лице, под седыми слежавшимися космами, вся в грязнейших лохмотьях, в вонючей темной каморке, она показалась Басанке настоящей живой чертовкой. Но ради Ниме, он готов был иметь дело и с чертями. Преодолев страх и отвращение, он снял фуражку, поклонился ей и протянул золотой.

— Люблю Ниме, хочу жениться, а девка не хочет. Научи бабка.

— Можна-можна, только уй как страшна!... Не боишся умереть?

— Не боюсь, научи.

— Езжай домой, возьми кожаная сумка, горячим шилом сделай дырка, много-много дырка, положи в сумку живу жабу, садись на самого резвого коня, найди в поле муравьиный куча, брось на куча сумка с жаба, а сам скачи назад. Если услышишь крик от жаба, то умрешь на месте, если ускачешь и не услышишь, то живой будешь. Через 14 дней приезжай к куче. В сумке будет только сухая кости от жаба. Возьми, заверни в белый платок только левый челюсть. Этой косточкой украдкой царапни девушку в левую лопатку и девушка будет твоя . . .

В большой тайне, в великом страхе проделал Басанка все, как наказывала цыганка и, наконец, имел за пазухой чудодейственную кость. На ближайшей хотонной вечеринке, когда девицы сидели пред кроватью в чинный ряд, а Ниме играла на балалайке, Басанка тихонько взобрался на кровать и под шум и говор молодежи царапнул лягушечьей челюстью в левую лопатку Ни-

ме. В ту-же секунду девица отбросила балалайку, резко обернулась, неожиданно выхватила из руки Басанки колдовскую кость, три раза плюнула на нее и бросила в огонь. Ниме, оказалось, знала его намерения и заранее научилась противо-колдовскому приему. И верно — чары не подействовали, а Басанка зря оскандалился публично.

С этого вечера надежды Басанки на любовь Ниме исчезли совсем. Ему стало стыдно попадаться ей на глаза. Через несколько дней она была просватана за лучшего в хотоне жениха — Напура, сына старшего табунщика . . .

*

Летний полдень полыхал зноем. Аюлский хотон — на летней стоянке. Меж белыми и серыми усеченными конусами кибиток ни души. Даже неугомонные стаи детишек и те попрятались по теням. Мертвыми лепными группами застыли у зеркально-неподвижного пруда пестрый гурт скота и темные кружки косяков табуна. Степовые полудёнки волнами гуляют по горизонту и дальним курганам. По пыльным дорогам, что извилистыми лентами опоясали равнину, бугры и долины Задонской степи, неожиданно появляются и, винтом вздымаясь к небу лениво кружатся бурые столбы пыли, увлекаемые вихревой струей заблудившегося ветерка. Бесформенные громады белоснежной ваты неподвижно виснут с голубой вышины.

— Простор, тишина и покой заколдованного, сонного царства! . . .

Но вот и признаки жизни: от одной кибитки на краю хотона отделилась фигура в длиннополом легком белом одеянии и в черной круглой шапочке с большим, ярко-желтым ромбической формы верхом с приподнятым острым углом спереди. Женщина идет быстро, размахивая руками, не обращая внимание на то, что полы ее халата разошлись и развеваются по ветру, и что видны ее широченные черные нанковые шаровары. Она в большой тревоге и ей не до приличий.

Как только она, с силой распахнув обе половинки красной досчатой двери, вошла в свою кибитку, вы-

прыгнул оттуда босоногий мальчик, и раскосматив черные волосы, побежал во всю прыть в сторону пруда. Выскочившая за ним женщина стала торопливо распоясывать кибитку, распускать на полстях шнурки.

Тревога в несколько минут охватила весь, до сей минуты сонно дремавший хотон. — «Цецек» — оспа роковой и неожиданной гостьей посетила аюлцев. Разъездной табунщик Церен, в поисках забежавшей из табуна третьячки побывавший во многих русских селах и слободах, где-то заразился оспой и, придя домой, слег. Жена его, по закону калмыков, немедленно позвала к себе «слепую», т. е. перенесшую оспу, старуху и через нее оповестила весь хотон об опасности. Все соседи должны были немедленно перекочевать на другое место, подальше от очага заразы, чтобы не видать было отсюда дыма кизячного, не слыхать было лая собачьего и чтобы не пить воды из одного источника.

Пока встревоженное взрослое население хотона быстро разбирало и складывало кибитки, уматывало и прибирало вещи, быстроногие и шустрые мальчишки, пришедшие от неожиданой суматохи в восторг, уже пригнали из гурта быков, запрягли в квадратные низкие возилки и подали под клажу.

Не прошло и часа с момента тревоги, а большой и богатый аюлский хотон, под скрип колес, под лай ошалевших собак и рев обеспокоенного скота, в облаке дорожной пыли, уж исчезал за бугром. «Спелая» старуха то и дело отставала от табора и раскладывала по дороге заградительные против «дурной болезни» костры. Нарвав пучок сухих трав, она клала его на дорогу, посыпала щепоткой крупно-зернистой соли и зажигала. Маленький костер дымил, разгорался и трещал, «отпугивая заразу цецека», если бы она вздумала следовать за уходящим хотоном.

На старом месте, на пепелищах хотона, сиротливо осталась только кибитка несчастной, обреченной семьи Церена. Как только хотонный табор скрылся за бугром, жена Церена привязала к концу длинного шеста свой старый черный халат и воткнула шест у двери

кибитки, чтобы проезжий путник не заехал случайно к ним.

Сам Церен, мечась в бреду с темнобагровым лицом, ничего уже из этого мира не воспоминал. Ему чудилось, что спинной хребет его стал оловянным, что внутри его медленно разгорается костер, который вот-вот растопит оловянный хребет, после чего все его тело должно распасться по частям. Он шумно выдыхал жар; жадно пил воду и просил залить водой расплавляющееся олово.

Жена его и 18-ти летная дочь Ниме горько плакали, будучи беспомощны против нагрянувшей «дурной болезни». Жутко было им в степной пустыне, на пепелищах большого хотона, лицом к лицу с беспощадным бичем. Они знали, что отныне и до истечения сорока девяти дней по выздоровлении или смерти последним заболевшего члена семьи, пока у двери кибитки будет развеваться черный флаг, ни одна живая душа не наведается к ним. Ни один путник, как бы ни жаждал, увидя зловещий флаг, не завернет сюда. Только тогда, когда перестанет по утрам струиться дымок в верхнее отверстие кибитки, укочевавшие соседи догадаются, что в семье уж нет здорового человека и пришлют наемного мужика для ухода.

Душу матери щемила жалость при мысли о судьбе детей, особенно об участи пятилетнего сына, если бы они оба, муж жена, раньше ребенка стали бы жертвой болезни. Но на людей она не обижалась. Издревле, еще со времен чингисовых, в таких случаях так делалось. Их соседи поступили по закону. Печаловалась она только на свою судьбу, просила Бога оказать милость не только для них, но и для всего хотона, чтобы никого больше не постигла такая беда.

Особенно страшна была первая ночь на пепелищах хотона. Больной Церен переносил последние смертные муки; осиротевшие собаки нагоняли жуть лаем-плачем: обеспокоенные внезапной переменой обстановки, коровы и теляты разноголосно мычали; каждый выкрик ночной птицы на пруду будто вещал смерть . . .

Любовь настоящая, глубинная, не знает ни злобы, ни мести. «Не мне, так никому» — это голос не любви, а оскорбленного самолюбия. Басанка крепко, по собачьи преданно, по настоящему любил Ниме. Поэтому, узнал о несчастьи с семьей Церена, он сильно опечалился. Когда хотон по тревоге укочевал, он был в степи, дневным при табуне, а потому не смог даже взглянуть хоть издали на Ниме на прощаньи. Теперь, когда хотон отделился от заразного очага, к кибитке Церена нельзя было и приближаться. Это был вопрос не только его собственной безопасности, но и всего хотона, всей его семьи. Никто бы ему не позволил посетить заразный очаг, а если бы узнали о посещении самовольном, то его не подпустили бы к хотону на расстоянии собачьего лая. Да и не было в те стародавние времена калмыка, который не испытывал бы мистический страх пред страшной «рябухой-цецек».

Сын своей среды, не меньше других боялся этой болезни, сеющей смерть, и Басанка. Но сердце его, заглушая все страхи, ныло болью и любовью и тянуло к Ниме в беде. Целых три дня и много ночных часов боролся с собой Басанка. Его желание еще раз увидеть Ниме, может в последний раз услышать ее голос, было так сильно, что на четвертое утро, прямо с ночного дежурства при табуне, он выехал на бугор, что скрывал от взора осиротевшу кибитку Церена.

Сперва он думал только выехать на бугор и посмотреть на дымок из кибитки, чтобы передать в хотоне, что в семье Церена жизнь не замерла. Но завидев за розоватой полоской пруда желанную точку, Басанка неожиданно для себя даванул каблуками по бокам коня и помчался, точно угорелый, спускаясь с бугра в сторону одинокой кибитки. Сердце его прорвало разум и волю, и он понесся навстречу немой и невидимой смертельной опасности. Что будет потом, об этом не думал. Точно боясь раздумий, Басанка все сильнее нажимал ошалевшего коня.

В полуверсте от Цереновой кибитки, конь под Басанкой всхрапнул и навострил уши; в тот же миг наездник круто осадил коня и спрыгнул на землю: в не-

большой котловине, слабой и неумелой рукой разбрасывая комья земли, Ниме рыла яму.

Живо остановив тяжело дышащего коня, Басанка подошел к Ниме, смущенно поздоровался и, молча взяв из ее руку лопату, стал рыть начатую яму. Удивленным глазами посмотрев на Басанку, Ниме отошла в сторону и тихо заплакала.

Когда парень уже с головой скрылся в вырытой яме, девушка подошла и проговорила:

— Не будет-ли? . . . Я пойду к коровам, захвачу быков и привезу папу, а вы не дожидайтесь меня и уезжайте. Засыплю-же я сама. Спешите, чтобы люди не увидели, очень неосторожный шаг вы допустили, да не будет вам плохо . . .

— Нет, не так это. Я поскачу за быками, а вы идите домой — твердо ответил Басанка, сел на коня и поскакал к коровам.

Всего полверсты было до кибитки, но пока дошла Ниме домой, в ее душе произошла тихая буря, перевернувшая страницу жизни. Поступок Басанки был неслыханный, и поняла девица, какая великая любовь заставила этого, до сегодня ею бракуемого парня преодолеть страх, пренебречь судом людей и опасностью. А тот, кого она ласкала в душе, называя лучшим и достойнейшим кто весел и речист на вечеринках, кто наездник и танцор, красавец желанный, — тот не прискакал к ней, когда она в ледяном ужасе, великом горе, беспомощно старалась вырыть могилу отцу, когда весь мир бросил их одних и когда ждут они смертного часа . . .

Мать Ниме была еще в сознании, когда Басанка, пригнав со степи быков, запряг возилку и, смело войдя в кибитку, начал помогать Ниме обрядить покойника к погребению. Для человека, умершего от «дурной болезни» и особые похороны: его зашивают в толстую продымленную полсть и поглубже зарывают без священников. Общее отпевание происходит потом, когда эпидемия пройдет.

— Жалкий ты, Басанка . . . как же ты решился приехать? . . . Люди знают-ли . . .

— Никто. Я прямо с ночного... дюже захотелось увидеть... — смущенно отвечал Басанка, неумело возясь с покойником. Руки его тряслись, пот градом капал с бровей — впервые он прикасался к трупу человека, да еще умершего от такой страшной болезни — «цецек».

— Так ты не вздумай возвращаться в хотон, а поезжай в русское село и вернись только через неделю, когда увидишь, что не заразился. Собой рисковать — дело твое, а подводить хотон под беду не смеешь — сказала хозяйка.

— Так я лучше останусь тут до конца, а то, ведь, Ниме будет страшно, отца похороним, вы больны... Раз я приехал и прикоснулся к заразе, то чего уж бояться — отвечал Басанка, заканчивая зашиванье трупа.

— Заболеть-же можете — вставила Ниме.

— Туда ему и дорога; пусть; заболею, так заболею, чего там...

— Бедный, ты же молод — сказала хозяйка.

— Молод, но без счастья... Мне жизнь — ничего.

Когда покойник был приготовлен к выносу, больная мать приказала Ниме поклониться отцу на прощанье, а потом, прерывая рыдания, тяжело дыша, проговорила:

— Ниме, если и я умру, а ты останешься жить, то Басанка твой «домашний хозяин» (муж)... Он за тебя идет навстречу смерти. А сватам верни расходы.

Церена похоронили. Басанка поселился в стороне от кибитки под возилкой, завесив ее с трех сторон полстями и плетеным чаканом. С ним же охотно поселился и мальчик-сирота Цецена. Днем Басанка помогал во всех работах Ниме. Видно было, что они стараются побольше быть вместе и забывают об опасности заразы.

Басанка прорвался к сердцу Ниме.

Жена Церена выдержала болезнь и выздоровела, а главное — больше никто не заболел. Через семью семь — 49 дней по выздоровлении, они радостно при-

соединились к главному хотону. Весь хотон радовался, что страшный бич не отнял много жертв. Но героем хотона был Басанка. Товарищи его поздравляли с победой. Напур даже не заикнулся о своих правах жениха. Вдова Церена отогнала им пару быков в возмещение расходов. А осенью хотон шумно сыграл свадьбу Басанки и Ниме.

РАССКАЗ КАЛМЫЧКИ

...Народу в нашей станице умирало тогда, зимою 19-го года без счету. Только что начала поправляться от брюшного, приехал муж из Зюнгарского полка и слег возвратным. Чтобы пользоваться доктором, я привела мужа в Великокняжескую, наняла квартиру и начала его выхаживать. Доктор лечил за одно и меня.

Лечение шло хорошо. Думала — муж скоро встанет, обыльготится на месяц и мы поедем домой. Всего полгода, как были женаты... И полного месяца вместе еще не жили.

Прошел февраль. Однажды ночью раздается в наше окно сильный стук и незнакомый голос кричит: «есаул Шарманджинов! Доктор Рассказов передал, чтобы вы сей-час же ехали на станцию и садились в поезд; к утру станица будет занята большевиками; все уходят!»...

Прокричал он это и исчез. Я так и обомлела. На дворе ночь, хоть глаза выколи, на улице невылазная грязь и ни души знакомой в станице.

Кинулась будить мужа, а у него как раз приступ. Температура больше 39. Совсем равнодушно отнесся к известию; махнул рукой и отвернулся к стене. Что делать?... Разбудила квартирную хозяйку (хорошая была женщина), дала ей сто рублей и попросила поскорее найти подводу — довести нас до станции: «Сколько хотите платите, остальное — вам».

Не прошло и полчаса, как она пригнала драгаля. Я одела мужа, наспех завернула наш багаж, наложила на дроги, сели и поехали. А на станции уже народу!... У вагона драки, крики... Один за одним ушли два состава, полные людей, а народу как будто не убавилось. До утра проторчали на перроне. К утру удалось попасть в вагон. «Ну, слава Богу, думаю, наконец, поедем»... Сидим час, другой, а поезд наш все стоит и стоит. Уже стало светать. Смотрю, в вагоне народу стало меньше. Начала беспокоиться. Вдруг вижу и слышу, скачет казак мимо состава и кричит: «Спасайся, кто может! Поезд не пойдет, красные отрезали!... Господа офицеры, снимайте погоны и кокарды»!...

Вот тебе на! . . . Кругом заохали, засуетились и бросились вон из вагонов. Высадила и я мужа, все вещи бросила, взяла только саквояж с моими ценностями. Потащились по грязи назад, в станицу. Зачем, куда — не знала. Муж едва волочит ноги, шатается, я тоже была еще слаба, но тащу мужа под руку. Вдруг слышу из-за забора: «Куначка, погон-то с мужа сыми!». Глянь, а у мужа еще погоны на плечах . . . Забыла в суматохе снять. Живо оторвала их и втоптала в грязь. Не прошли дальше и два десятка шагов, вижу — скачет всадник и прямо к нам. Смотрю — на шапке красная звезда . . . — «Вот и смерть» — подумала я.

— Стой! Давай деньги! — заорал он и направил прямо в грудь мужа винтовку.

— На-те, на-те, тут есть — сказала я и протягнула ему саквояж.

Он взял его с коня и поскакал дальше. Так все ценности и погибли. Было там: кольцо с бриллиантом, что сестра Джиджма подарила, когда я замуж выходила, сережки такие же, еще коралловые, три золотых кольца, две пары золотых браслет, десяток старинных золотых монет, часы золотые. Но в тот момент я и не подумала их жалеть, только теперь часто думаю: «а что, если бы не отдала, убил бы он меня, или нет?».

Пошли мы дальше. Нагоняет нас возилка с будкой и быков ведет моих лет калмычка. Я к ней: «сестрица, позвольте положить больного мужа на возилку и вместе будем отступать». Она, не говоря ни слова, остановила подводу и помогла посадить мужа в будку. Там было двое детей 3-5 лет. Стало немного легче, не так страшно. Вдруг видим, скачут к нам двое верховых.

— И куда вас черти носят, езжайте на соборную площадь, там вам покажут, как за казаками бегать! — закричали они. Бить еще не били, но по русски здорово ругали.

— Цо-цобе! — загалдели мы, две бабы, на быков, сворачивая их в сторону собора.

— Стой! Ты, скидывай сапоги! — приказал мне один. Я села прямо в грязь стянула мои новенькие сапожки и отдала. Они взяли и поехали дальше. Я осталась бо-

сиком, а грязь по колено и холодно. Отъехав немножко, калмычка полезла в будку и вытащила мне мужские валенки. Я обтерла ноги и надела.

Проехали квартала два, вдруг — трах! ось одного колеса пополам. Мы и стали, не зная, что дальше делать. Хозяйка подводы стала почему-то туже затягивать кушак и сосредоточенно наворачивать кнут на кнутовище. Я полезла к мужу, чтобы вытянуть его оттуда, а он там мечется по будке на четвереньках, раскидывает чужие вещи и что-то ищет.

— Что ты ищешь, Бадьма?

— Револьвер мой, я не сдамся живым! . . .

Тут я невольно захохотала. Верно, говорят, что «смех от человека только со смертью его отходит». Это он, в чужой возилке, свой револьвер искал, который дома был оставлен . . .

Вытащила его из будки, глядь, а хозяйки уже нет. Исчезла куда-то, а дети остались на возилке. До сих пор не знаю, чьи эти были дети, ее ли, чужие? Взяла я мужа под руки и повела куда-то, а дети плачут, я им кричу, что мужа отведу, а потом приду. Шли, шли и вышли почти на край станицы. Идти дальше некуда. Зашли в первый же двор и постучались в хату. Вышел старик. Я к нему: «Дедушка, укрой нас, спаси!» . . .

Он постоял перед нами, поглядел на нас и говорит:

— Трое сыновей моих в большевиках, с вашими воюют . . . да жалко мне вас, молодые вы, идите за мной.

Повел он нас через двор и привел в маленькую пустую землянушку с большой печкой: — «Лезьте, говорит, на печь и сидите там тихо, если приедут сыновья, попрошу их, чтобы спасли вас» . . .

Запер он дверь и ушел. Мы и залегли на печке, заслонившись сухой коровьей кожей, лежавшей тут, от света. Ждем. Губы сами собой шепчут слова молитвы. Где-то стали бухать пушки, трещать пулеметы. Наконец, стало вечереть. Никто к нам в землянку за целый день не заглянул. Только перед самым вечером кто-то вошел, разомуничился, бросил винтовку на нашу кожу и тут же сел по надобности. Удивительное дело: дрожу от страха, что вот-вот нас откроет и — гибель, а когда

он, вставая, шумно испустил воздух, то я едва-едва удержалась, чтобы не захохотать. Наконец, он ушел, нас так и не заметил под кожей.

Уже в потемках пришел старик, принес кусок черного хлеба, восьмушку сала и сказал, что красные уже расположились в станице; громят; сыновей его нет, и что к нему никого не поставили. «Полежите до утра, а утром поведу вас к начальнику и заступлюсь, чтобы не стреляли вас», — закончил он и ушел.

И потянулась длинная, темная, жуткая ночь. Выстрелы по станице не переставали всю ночь. Только к утру все стихло. Только что рассвело, пришел старик и говорит: «красные ушли; никаких войск нет; может быть ваши придут». Опять дал хлеба и сала. И удивительное дело: то бывало ни курятина, ни хорошее кислое молоко, ни сливочное масло, ни яйца всмятку не переваривал желудок, все капризничал, а тут твердый хлеб и сырое сало так идет, что лучше некуда.

Через час-два пришел старик и говорит: «Ну, вылазьте, ваши пришли». Плохо веря, мы вышли, а в это время въезжает во двор конный казак и так участливо спросил:

— Ну, как остались живы, ничего вам не сделали проклятые?

Кинулась к нему, схватила за гриву его коня и на весь двор зарыдала.

Такой радости я никогда не испытывала.

Оставив мужа у нашего спасителя, подарив ему мужнину шубу, пообещав пригнать корову с телком, сама пошла посмотреть на вчерашнюю возилку. Нашла скоро. Быков уже не было. Вокруг возилки валялись разбитые сундуки, там и здесь лежали халаты калмычки, шапочки; вдруг вскрикнула я от страха: под возилкой лежали голые, как поросята, вчерашние дети с раздробленными головами и выпущенными кишками.

Бросилась я от них и побежала в сторону. Встречается женщина одна и говорит: «Иди, односумка, на соборную площадь, там ваших проклятые большевики много поубивали и еще не прибрали, может и твои кто

там». Пошла туда. Дрожу вся. Пришла на площадь: стоят без коней и быков много-много подвод, везде пораскиданы калмыцкие сундуки, всякая одежа, а между подводами, то в одиночку, то целыми группами лежат раздетые трупы убитых мужчин, женщин и детей. У одного вытек мозг, у другого выпущены внутренности, везде кровь, кровь и кровь . . . Между ними бродят голодные собаки . . . Затошнило меня, залихорадило, и побежала прочь . . .

Вдруг слышу я какой-то голос. Повернулась и вижу: сидит у своей будки на возилке молодая калмычка, качает окровавленного ребенка мертвого, а сама, вся вымазанная в грязи, простоволосая, без шапки и блаженно улыбаясь на небо, тихонько поет калмыцкую колыбельную песню. На меня и не посмотрела . . .

Начинало морозить, сверху порошило снежком, замерзающая земля начинала сковывать мертвые тела . . .

Долго и часто снилась мне потом эта картина, и до сих пор, как вспомню, дрожь берет . . .

ПОЕДИНОК

На стройных и сильных ногах, аккуратно и крепко сбитый, весь пестрочалый, с красиво раздавшимися, желтовато-белыми, словно лакированными рогами наш четырехлетка бугай — «Бурул» — был моим любимцем и гордостью. Он был не только красавец на все хотонное стадо, но первый в нем силач; два года подряд он был чемпионом гурта.

— С нашим «Бурулом» связываться опасно, вмиг отшибет всякого, — гордо говаривал я, когда какой нибудь из местных бугаев, в пылу весеннего восторга, пытался вступить с ним в борьбу. И, действительно, «Бурул», словно понимая мое хвастовство, всегда красиво и с достоинством принимал вызов. Стоило только какому-нибудь бугаю поднять боевой рев, он спокойно басил ему в ответ, раза два бороздил передними ногами землю, энергично и наскоро точил рога об земь, также, мешая траву с землей, натирал щеки и смело направлялся к озорнику. Подойдя на несколько саженей, он испускал грозное сопение до свиста в раздувающихся ноздрях и, напружинив свое мускулистое тело, круто согнув голову, пронизывая противника буравом жестоких глаз, картинно становился перед ним, загораживая ему путь и замирая в ожидании, ежесекундно готовый встретить ударом удар . . .

Противник, если он был из гурта нашего хотона, изведавший однажды силу моего «Бурула», обыкновенно смирялся, немедленно утихал, начинал смущенно помахивать хвостом и, осторожно обнюхав свирепого силача, раз-два поматывал головой, словно говоря — «свяжись с тобой» — и проходил мимо.

Если враг попадался из чужого стада, еще не изведавший силу и ловкость «Бурула», то смельчак, после двух-трех могучих ударов железного лба моего чемпиона, пулей отскакивал прочь и в панике бросался удирать во свояси и уж после не показывался в наш гурт.

«Бурул» был рыцарь. К побежденным не бывал жесток. Он никогда не преследовал побежденного вра-

га. Одержав очередную победу, он только для проформы испускал победный рёв и спокойно принимался пастись, недреманным оком опекая свое многоголовое стадо, свой родной дом, в котором он вырос и по достоинству занимал первое место.

Но, однажды, «нашла коса на камень». Из конно-заводческого гурта вторгся в дом «Бурула» смелый оккупант, ненасытный ловелас и силач. Положение и авторитет хозяина должны были подвергнуться тяжелому испытанию.

Пришелец — большого роста, неуклюжий, весь густо-красный, с могучими, прямо поставленными, толстыми, несколько для его роста короткими, но острыми, блестяще черными рогами — был грозен. Он был годом или двумя старше нашего и вся повадка его выражала самоуверенность и покой.

Местные красавицы, немедленно оценившие его по достоинству, обрадовались возможности разнообразия и стали кружиться вокруг него. Слабовольные мужчины гурта, многие из которых имели зуб на «Бурула», стали услужливо заискивать перед пришельцем, чтобы доедать его остатки.

«Бурул», почуявший опасность, сперва, как будто, не замечал незванного гостя. Но когда он завязал флирт с очередной его симпатией «Бурул» не выдержал и испустил дуэльный рев. Пришелец отвечал. Соперники приготовились и, после долгих церемоний бугаиного этикета, мужественно сшиблись . . . Затрещали мощные рога во встречных ударах, запыхтели бойцы от натуги, кровью налились выпученные глаза, комья целинной земли летели из под копыт напряженных ног . . .

Для нас, десятка загорелых хотонных босоногих ребятишек, свидетелей поединка, стало ясно, что красный — сильный боец и достойный соперник нашему «Бурулу». Побледнев лицом, с часто бьющимся сердцем, я мысленно призывал на голову моего любимца помощь всех наших многочисленных богов.

В первые секунды самоуверенный «Бурул», избалованный победами, могучими напряжением задних

ног и сокрушительными ударами крепкого лба взял инициативу и заставил пришельца попятиться назад. Но противник, видимо, не только силен, а и опытный был в боях. Сделав короткый прыжок назад, он ловко оправился и подставил в лоб «Бурула» свой левый рог. Не ожидавший такого маневра и разгоряченный «Бурул» со всего размаха ткнулся лбом об острие рога и до кости рассек кожу над глазом. Из раны потекла кровь. Он слегка охнул, потерял такт и на миг ослабил напор. Не теряя и секунды, красный раз за разом нанес «Бурулу» два ловких удара, поддел под его горло свои сильные рога и, слегка приподняв перед противника, покатил его вспять. Положение создалось безнадежное и мой любимец, испустив страдальческий вздох, бросился наутек. Победитель энергично преследовал его и, нагнав, успел нанести ему несколько презрительных ударов пониже хвоста, а потом, поматывая шумящей головой, отстал . . .

Отчаянию моему не было меры. Товарищи мои, хотя и уязвленные в хотонном самолюбии, посмеивались надо мною, припоминая мои хвастливые заявления, и беспощадно критиковали промахи моего «Бурула». В душе они, видимо, злорадствовали.

Не меньше меня, вероятно, был потрясен и сам «Бурул». Он бежал не в свой гурт, а просто в степь, куда глаза глядят, словно эмигрировал за пределы родных границ. Красный, на правах победителя, завладел всем домом «Бурула», стал царем его стада и бесцеремонно начал флиртовать с лучшей дамой гурта — с изящной красавицей, белоногой, бело-рыжей четырехлеткой «Авга».

В тот вечер я лег спать без ужина, сославшись на головную боль. «Бурул» же ночевал в степи один, где-то в дальних балках и наутро не присоединился к своему гурту. Когда я его нашел и поднял, он с грустным выражением на морщинистом лице пошел к дальнему концу пруда, попил немного воды и лег на голом пыльном берегу. Весь день пролежал он тут, купаясь в пыли, не срывая ни одной травки, лишь время от времени несколькими глотками воды утоляя жажду.

Я понял, что «Бурул» мой не признает своего поражения окончательным и готовится к реваншу, к освобождению родного очага от власти завоевателя. На его рассеченный лоб садились мухи и он беспомощно мотал головой. Я немедленно побежал домой и, чтобы не завелись в ране черви, принес смесь котельной сажи со сметаной и смазал ему рану.

Два дня и ночь пролежал он. К вечеру второго дня, когда его родной гурт возвращался к хотону под водительством красного, он встал, со смелым вызовом подошел к нахальному пришельцу и вступил в драку. С первых же ожесточенных ударов красный понял, что сильный чалый противник хорошо натренировался и будет неутомим. После пяти-шести одинаково сногсшибательных ударов «Бурула», красный оккупант искал спасения в бегстве. На этот раз мой рыцарь, против обыкновения, был жесток. Он гнал побежденного и, не давая ему оправиться, долбил его по тому самому месту, куда и сам получил от красного после первого столкновения.

Грудь моя высоко вздымалась и сердце колотилось от радости за блестящий реванш моего бойца. Грозным властелином после невольной отлучки вернулся он в свой гурт. Коварные изменницы покорно приняли своего господина. Красавица «Авга», которой уже успел надоесть грубый пришелец, сама первая подошла к «Бурулу» и хотела было горячим языком лизнуть лоб победителя, но он устало боданул ее концом рога и равнодушно отвернулся от нее.

Но красный оказался не из таких, которые скоро примиряются с поражением. Он чувствовал равную силу противника, его неутомимость молодости, но знал, видимо, свою опытность и преимущество хорошего постава своих рогов. Он также дня на три уединился и, не принимая пищи, лишь слегка утоляя жажду, стал тренироваться для вторичной схватки.

Я с тревогой ждал новой встречи. Утром третьего дня произошло столкновение. Встреча утром давала мне маленькую надежду, потому что за ночь «Бурул» мой мог отдохнуть от дневных трудов, а главное переже-

вать и переварить траву, которой была набита его требуха. Но, увы . . . Мой «Бурул» опять был побит и, получив две легкие раны в шею и ляжку, стремительно бежал. Он опять залег, готовясь к четвертому бою.

Дело обещало затянуться. Так бывает, когда бугаи чувствуют равные силы и если их насильно не отделить на десятки верст, то они в этой борьбе перестают быть полезными в своем природном назначении от истощения. Наши соперники оказались по силе и упорству именно в таком сочетании. После напряженного размышления, я понял причину поражения и даже нашел средство помочь своему любимцу. И в ту же ночь незаметно ни для кого, к силе и ловкости «Бурула» присоединилась хитрость маленького человека.

Словно поняв увеличение своих шансов, «Бурул» встал несколько раньше и, когда красный победитель с набитым травой брюхом важно возвращался с пастбища, встретил его в стороне от хотона и вступил в бой . . .

Триумф был полнейший . . . Только два раза успел долбануть «Бурул» красного по лбу, как тот, дико заревев, с окровавленным лбом, бросился бежать. Мой победитель преследовал и на этот раз и, догнав врага, сильным ударом левого рога в брюхо, снизу вверх, свалил красного с ног. Не давая ему подняться, «Бурул» два раза боданул лежачего в брюхо, каждый раз почти до основания погружая свои, как шило заостренные рога в тело врага . . .

Красный пришелец не встал. Он остался лежать, испуская глубокие, натужные вздохи. Из пробитого в трех местах брюха его показались белые тоже прободанные кишки . . . Враг «Бурула» был уничтожен навсегда. Мятежная душа его пошла искать новое перерождение. Победитель испустил торжествующий рёв и прошествовал в свою родную семью, где почтительно был обнюхан многими согражданами по гурту и прилизан шершавым языком своей старушки-матери . . .

Состояние красного было безнадежно. Прибежавшие мужчины прирезали его и приказали хотонным бабам поскорее справиться. На далеком степном гори-

зонте, за причудливыми скалами черных туч, медленно погружалось кроваво-красное солнце, обещая непогоду, а хотонные бабы, окруженные детьми и собаками, живо обдирали остывающий труп красного оккупанта.

Был тихий, теплый, лунный весенний вечер. В орке — верхнее отверстие кибитки — гляделись тысячи бледных звезд. В соседних кибитках раздавались оживленные голоса, плачь и крики детей, а в стороне от хотона ожесточенно дрались собаки . . .

СКУПОЙ ХАН

Из калмыцких сказок.

Жил-был в старину скупостью своей прославленный хан. Никто его не называл по имени, достаточно было сказать «скупой хан» и все знали, о каком хане идет речь. Никто не мог получить в его дворце хорошего подарка, так-как у хана были подобраны царедворцы, скупее его самого.

Однажды собрались три остряка и решили умом и хистростью добиться ханского подарка. Пришли они во дворец и, низко поклонились хану, сели на указанное место.

Так-как гости не решались первыми заговорить с ханом, то начал хан. Известно, что со своими подданными хан может говорить о чем угодно.

— Скажи ка, ты, повыше сидящий, почему у тебя волосы седые, а усы совершенно черние.

— Ваша ханская милость, усы у меня ровно на двадцать пять лет моложе моих волос, им еще не пора седеть, ответил гость.

— Остроумный ответ, молодец — с удовольствием подумал хан.

— Ну, ты, следующий. Почему у тебя усы седые, а волосы еще черны?

— Ваша ханская милость, у меня ленивый конь, нерадивая жена и тупой нож, а потому мне очень часто приходится расстраиваться и в волнении крутить усы, оттого корни волос ослабели и усы преждевременно поседели.

— Тоже находчивый ответ, недурно! . . . Хорошо когда есть такие умные подданные — подумал хан, приходя в хорошее настроение.

— А ты, третий, почему у тебя ни усов и ни бороды? Твое лицо — словно кипятком ошпарено, ты ведь не молод?

— Ваша ханская милость, характером и умом я уродился в отца, но чтобы не обидеть и мать, лицом я уродился в нее. Вот почему у меня нет ни усов, ни бороды, ответил третий гость.

— Молодцы, вот умники, — возрадовался хан их находчивым ответам и в порыве радости приказал им насыпать мешок золота. Напрасно скупой царедворец моргал хану, прикусывал губы, но ханский приказ, отданный при людях, обязательно нужно было исполнить.

Отягощенные большим и дорогим подарком, ушли три остряка домой. Но не успокоился скупой царедворец. Он решил как-нибудь вернуть царский подарок обратно и поскакал им вдогонку.

Увидев скачущего к ним ханского казначея, один из остряков отстал, а остальных двоих с ношей отправил вперед.

Приблизившись к отставшему, царедворец, без долгих рассуждений, грубо сказал:

— Хан приказал задать тебе три вопроса, и если ты на них не ответишь, приказано взять подарок обратно . . . Итак, скажи: — как далеко до неба? Одна верста, не задумываясь отвечал остряк.

— Почему?

— Потому, что голос с неба — гром, бывает нам слышен, думаю, что и наш голос бывает слышен на небе. Значит, расстояние не больше версты.

Царедворец ничего не нашелся ответить.

— А скажи, продолжал он, как велико расстояние от места всхода солнца до места его захода?

— День ходьбы.

— Почему?

— Потому, что солнце утром выходит, не спеша идет и как раз к вечеру доходит до места захода.

Царедворец опять не мог ничего возразить. Он наморщил лоб и решительно спросил:

— Ответь мне, что такое превратности судьбы?

— Ах, как раз до вашего приезда мы с друзьями обсуждали этот вопрос. Дайте-ка, господин, коня. Я догоню их, спрошу, к какому решению они пришли и, вернувшись, скажу вам.

Царедворец слез с коня и дал его остряку. Тот сел и, отъехав десяток саженей, спросил скупого ханского казначея:

— Скажи, за минуту до этого думал ли ты, что останешься в степи один, без коня, питья и пищи?

— Нет, а что?

— Так вот, тепер остаешься . . . Это и есть превратности судьбы, сказал остряк, хлопнул коня по бокам и был таков.

В ДОЛИНЕ БАРСОВ

(Легенда)

Голубой лазурью, серебром звезд и перламутром сверкает зала Богды-Хана в вечном городе Хан-Балу. Из красного дерева выточен трон его; золотом, слоновой костью и бирюзой он разукрашен рукою чудесного мастера. На мягкой бархатной подушке в пурпуровом шелку восседает на троне старый повелитель империи Поднебесной. По сторонам, на мягких пушистых коврах из Самур-Ханда, за маленькими столиками, в застывших позах сидят два его советника, умудренные опытом старики. Перед ними — свернутые и трубку листы пергамента, тушь в золотых пузырьках и гусиные перья. В парчевых халатах, в белоснежных широкополых войлочных шляпах, длинными и кривыми саблями на плечах, каменными изваяниями застыли у двери парные часовые.

Сегодня Богды-Хан принимает Торгутского хана Овши с его виднейшими нойонами, которые из далекого запада, из под власти белого царя московского привели свой народ под покровительство его.

Напряженная тишина царит в зале. На этажерке из черного дерева, установленной множеством книг в разноцветных расписных кожанных переплетах, тихо струится золотистый песок в часах, отделанных крупными жемчугами по рубиновым линиям. Богды-Хан бросил взор на часы и, лениво протягнув руку, взял маленький серебрянный колокольчик. В ответ на тонкое и мелкое дребезжание где-то раздался звон гонга. Парные часовые вытянулись, взяв сабли на караул. Послышался топот ног и показались гости.

За шестнадцатилетним Овши-Ханом, мягко ступая красными, тупоносыми сафьяновыми сапогами на высоких каблуках, вошли стройные, загорелые торгутские нойоны, все, как один, в черных шелковых бешметах, обшитых по воротнику золотом, туго подтянутые голубыми шерстяными кушаками, с кривыми легкими саблями на боку. Гибкий стан степных наездников, остриженные в кружок и зачесанные назад бле-

стяще-черные волосы, ловкая и легкая поступь сразу отличали их от неуклюжих в движениях, длиннокосых, восково-лицых китайцев.

Сейчас же за молодым Овши-Ханом, почти рядом с ним, вошел чернобровый, черноусый, средних лет нойон, со смелым, открытым взором и энергичным движением. Старый Богды-Хан сразу угадал в нем подлинного вождя торгутов, того самого умелого военачальника и искусного политика, который после столетнего пребывания торгутов в русской неволе, сумел поднять дух народа, заставить решиться на уход, провел через тысячи препятствий, через всю Азию, имея в голове смелые планы. «Это и есть тот самый Цебек-Дорджи» — решил император Китая, еще раз с удовольствием окидывая его стройную фигуру потухшим, но опытным взором своих узких глаз.

Положив перед троном Богды-Хана свои дары-знаки почтения, молодой Овши-Хан сел по правую сторону от трона, имея ниже себя пять почтенных пожилых нойонов. Положив и от себя подарки, Цебек-Дорджи занял место по левую сторону от трона, имея ниже себя двенадцать нойонов, молодых полководцев.

Богды-Хан вопросительно взглянул на своих советников, угадывая в этом раздвоении гостей что-то неладное. Цебек-Дорджи, из всех торгутских нойонов один успевший научиться китайскому языку, первым просил у императора разрешение на слово.

«Из цепких когтей русского орла вырвавшись, проплыв глубины быстротечных рек, прорывая ряды врагов многочисленных, победив даль, расстояния, прибыли в царство вашей Богды-Хановой милости меньшие братья вашего народа — торгуты. Хан и нойоны торгутские почтительно склоняют головы и желают вседержителю империи вечного покровительства богов многочисленных. Пребывая в данную счастливую минуту в сказочной зале вашего дворца, в вечном городе Хан-Балу, мы почитаем себя достигшими той сверкающей звезды, которая манила нас к себе и во тьме ночей, и средь шума битв» — картинно склоняя голову и прикладывая ладонь правой руки к сердцу, отчетливо говорил Цебек-Дорджи.

«Приветствую и вас, хан торгутов, и вас, нойонов-богатырей степных. Ваши чувства приятны мне. Имею великую радость, видя и слыша славного Цебек-Дорджи нойона, слух об имени коего давно опередил его приезд, коснувшись и моих ушей . . . Расскажите мне, славный Цебек-Дорджи, о вашем удивительных походах, как ушли из под русской власти, каков был ваш путь, много ли было боев с врагами, как вы разметали их лавы боевые, сколько вас выехало, сколько во здравии прибыло» — милостиво спрашивал император Китая.

Свободно, связно и красноречиво, под общее напряженное внимание рассказывал Цебек-Дорджи о легендарном походе торгутов с берегов Волги до Китайской границы. С жаром вспоминал он про недавние стычки и с многочисленными врагами по пути долгой и трудной, со слезами на глазах говорил про страдания народа от жажды и голода, про мор, про козни врагов, отравлявших воды на их пути . . .

Прищурив глаза и склонив голову на бок, внимательно слушал Богды-Хан. Стараясь не пропустить ни слова, колкими взорами щелистых глаз впившись в лицо Цебек-Дорджи, слушали его застывшие советники. Долго, то горячо и громко, то тихо и скорбно рассказывал Цебек-Дорджи, умело закрывая одну из ярких страниц из истории монгольского народа, выпукло подчеркивая непримиримость своего маленького, но смелого народа с подчинением и зависимостью.

. . . «Но мы пришли истощенные духом и телом, обедневшие. У многих уже нечего есть, не с чего начинать новую жизнь под вашим покровительством. Нам необходима первая помощь, мы должны десяток лет отдыхать в мире, чтобы восстановить прежний дух, прежнее хозяйство, пополнить убыль в людях и только потом мы можем быть полезными империи вашей. Мы пришли, предпочитая быть вашими верными подданными, чем у инокровного царя, ожидаем от вас милостивого ханского отношения к хану и нойонам торгутов, как к меньшим братьям» — закончил Цебек-Дорджи свое повествование.

Глубоко задумался Богды-Хан, слушая рассказ торгута-богатыря. Знал он давно, что не с такими добрыми намерениями вывел свой народ этот степной волк. Знал он и о воинственных планах Цебек-Дорджи, о желании его отвоевать у китайцев обратно опустошенную ими Зюнгарию-старую родину торгутов. Как опасных врагов ждал он их, готовя войска.

Но сегодня они у него просят покровительства, пришли с покорной головой.

«Небо покровительствует вечной империи. Я могу ныне мановением руки без корня уничтожить этот народ, как остаток заклятых врагов моих — зюнгарцев, но нужно ли это... Истощив силы по пути Цебек-Дорджи обращается за помощью к тому, с кем шел воевать... Правильно он делает; как настоящий умный политик, он правильно разбирается в положении и принимает новое решение, единственно возможное в данной обстановке. Я сделаю не менее умный шаг, если заселю этими кочевниками-скотоводами пустующие пространства, наполню их стадами и табунами поля, мясом наши рынки, а для армии будут хорошие кавалеристы. Дам им помощь. Дам им приют, и империи моей они будут полезны» — думал старый Богды-Хан.

В словах Цебек-Дорджи он слышал правду и понимал, что торгуты, убив много народной энергии за сто лет в войнах России, часть народа оставив там, четыре последних года проведя в беспрерывных стычках по пути следования сюда, надолго обессилились и жаждут мирной жизни.

По незаметному для посторонних знаку Богды-Хана, один из советников приказал подавать гостям угощение. Долго длилась церемонная китайская трапеза с бесчисленными и изысканными кушаниями, о которых скромные аристократы торгутские не имели и представления, а Богды-Хан все сидел молча, погруженный в думы глубокие...

Искоса наблюдая за ними, внимательные глаза Цебек-Дорджи заметили, что из за плеча Богды-Хана, в щель двух шелковых занавесок балдахина над троном, блестят на него два терново-черных зрачка. По лукаво

смеющемуся и любопытствующему взору он понял, что смотрит молодая женщина. Встретившись с взглядом Цебек-Дорджи зрачки, испуганно метнувшись, исчезли, но скоро опять появились . . .

К концу обеда, прерывая сдержанный говор гостей и угощавших их хозяев, Богды-Хан заговорил: «Дарю из собстенного гурта каждой обедневшей торгутской семье по дойной корове, по паре овец, по ездовому коню. Нойонам велю ежемесячно выдавать из государственной казны по сто ланов, а из моего хозяйства дарю по коню с седлом и десять дойных коров. Навсегда освобождаю торгутов от податей. В течение месяца приказываю выдавать на каждую душу достаточную порцию муки или риса. Пока пусть ваш народ переходит границу и движется в глубь, а тем временем я с советниками выберу годное для него пространство» . . .

Богды-Хан умолк. Цебек-Дорджи поднялся и поблагодарил его за щедрость и доброе сердце. В зале настала тишина. Боясь, что Богды-Хан не поднялся с трона, Цебек-Дорджи попросил разрешение на слово. Кивнув головой, Богды-Хан стал слушать. — «У нас, у правящих народом, возник спор, который может быть разрешен только вашим решением. Пять лет тому назад, поднимая наш народ на уход из России, я стал во главе народа. Все трудности в пути преодолел народ под моим водительством. Все бои выиграны мною. Душою и разумом народа являюсь с тех пор и доныне я. Народ привык к моему правлению и доволен. Он желает и дальше меня видеть своим главой . . . Но ныне, когда мы вышли из бед и пришли в ваше благословенное царство Богды-Ханово, Овши-Хан желает устранить меня и самому править улусами. Народ же стоит за меня и волнуется. Я такого же и того же ханского роду, что и Овши.

Я мог бы заставить его отказаться от своих прав, но мне надоели наши нелады из-за власти, мы достаточно натерпелись от этого и под русским царем. Поэтому я решил представить этот спор на ваш суд. Что вы решите, пусть так и будет навсегда» — в заметном волнении кончил Цебек-Дорджи.

...«Вековечные тяжбы степной аристократии... только ими она губит народную мощь, самый народ. Начались эти споры еще в Зюнгарии, сто лет тому назад, не прекращались они и на далеком западе, привезла она их обратно в Азию, а народ уже обнищал, выдохся, без славы гибнет и разбросан по белому свету... почти не из за чего уже бороться... несчастный народ, хороший народ, смелый, а вот многоголовая верхушка не может наладить жизнь, как многоголовая змея не может влезть в одну дыру» — тоскливо думал Богды-Хан, морщась от сдерживаемого недовольства калмыцкой аристократей. После Цебек-Дорджи он пожелал выслушать Овши-Хана.

«Я был малолетень, чтобы руководить боями и провести уход торгутов из Европы в Азию, но без моего приказа народ не пошел бы за нойоном Цебек-Дорджи. Он работал моим именем. Ему была дана власть мною, по совету моего умного и старого дяди Данзан-Балвр. Ныне Цебек-Дорджи кончил свое дело и я, за его заслуги прощая ему наперед двенацать тяжких проступков, освобождаю его от обязанностей. Ныне я уже сам могу при помощи моего опытного дяди Данзан-Балвр править своим ханством. Но Цебек-Дорджи возмутил против меня весь народ, всех нойонов и военачальников, только эти четыре советника моего отца и мой дядя остались мне верны. Я прошу вас, Милостивый и справедливый Богды-Хан, оградить мой трон от незаконного захвата» — твердым голосом через переводчика заявил Овши-Хан.

Воцарилось тягостное молчание. Богды-Хан, разглядывая свои длиннейшие лакированные розовые ногти рук, глубокомысленно молчал. Наконец он поднял голову и скучающим тоном сказал: «Пусть народом торгутским по прежнему правит Цебек-Дорджи нойон, пока не осядет торгутское ханство на постоянное место. Еще много дел может быть впереди, в которых опыт будет нужен. А потом я разберу ваш вопрос». Давая знать, что аудиенция окончена, старший советник приказал подавать гостям душистую воду для полоскания. Молчаливой гурьбой, разделенные на две непримиримые

группы, вышли нойоны торгутские из дворца Богды-Хана.

II.

В золотых и серебрянных канделябрах самых причудливых форм горят сотни свечей в зале Богды-Хана. Идет большое совещание двора. Собраны все советники, царедворцы и главный военачальник. Решается вопрос — кому из двух тяжущихся сторон дать управление над новыми поданными-торгутами.

Повелитель империи Поднебесной не нуждается в повышении голоса. Каждый шопот из его уст должен быть услышан окружающими. Он говорит тихо, размеренно, тоном полного равнодушия. Но старый Богды-Хан явно на стороне умного и энергичного Цебек-Дорджи, столько положившего труда, чтобы вывести свой народ из под власти царя московского. Он подробно перечисляет заслуги Цебек-Дорджи, в выгодном свете характеризует его. Упоминает о предстоящих делах, о невозможности мирного сожительства между Овши-Ханом без авторитета и популярным Цебек-Дорджи и о необходимости кого-нибудь из них выбрать навсегда. Император не может на совете категорически подавать свое мнение. Он должен выслушать свободное мнение своих советников и должен быть готов всегда принять умный совет и в ущерб своему мнению.

На деловом совещании, созванном самим Богды-Ханом, советник по тысячелетней традиции свободно и смело излагают свое мнение, не боясь гнева Богды-Ханского.

После предложения императора приступить к совету, слово взял самый старый и почтенный советник и стал убедительно доказывать: «Нельзя в такие ответственные моменты народной жизни нарушать древнюю законную для него традицию. Нельзя свергать законного хана в пользу честолюбца, хотя бы и самого умного, способного. Это будет революцией, а она нарушает нормальное течение народной психологии. На всякого свергателя найдется другой свергатель и народ развратится в междоусобной борьбе честолюбцев. Народ

торгутский давно и много страдает од раздоров своей аристократии, пора ему найти под покровительством Богды-Хана мирное житие. Овши-Хан, хоть и молод, но видать умен. За поддержку его в законном требовании он будет благодарен. Цебек-Дорджи — честолюбец. Когда нужно, он всегда напомнит торгутам, что они воинственные монголы, которых мы недавно уничтожили в количестве миллион душ. Такие люди, как Цебек-Дорджи всегда опасны для государственного спокойствия, если в их руках находится такой беспокойный и воинственный народ, как торгуты. По моему Цебек-Дорджи нужно взять сюда, дать ему чины, награды и начальствование над одной из наших армий. Пусть своим талантом он увеличивает славу императора. Я молю богов, чтобы они внушили нашему Богды-Хану правильное решение по этому вопросу. По моему надо Овши-Хана утвердить на ханском престоле, а потомков его на вечные времена».

Мнение большого совета по торгутскому вопросу разделилось пополам. В таких случаях Богды-Хан один вечер усердно молился богам и наутро принимал решение сам.

III.

Разносится приятный запах курильной свечи из молельни Богды-Хана. Мерцает лампадка перед богами. Повелитель империи Поднебесной бьет усердные поклоны, прося мудрого решения вопроса.

К дверям молельни, мягко ступая крошечными сафьяновыми чувячками на босу ногу, подошла бледнолицая, чернобровая, стройная барышня в желтом шелковом кимоно. Заглянула она в щелку на молящегося Богды-Хана и стала ждать.

Дочь Богды-Хана, семнадцатилетняя красавица была баловницей отца и любопытна. Она во все вмешивалась и все знала, не в пример своему брату, наследнику престола, который интересовался только музыкой и шахматами. Поэтому она чаще всех общалась с отцом.

Выходя из молельной комнаты и увидя дочь, старый император ласково улыбнулся и погладил ее по блестящей черной головке, приговаривая:

«Почему так долго не спишь? Слышала сегодня наш спор, подслушивала?

— Да отец, я слушала, мне очень интересно узнать, какое решение принял отец после молитвы.

— Я остался при своем первом решении: дам ханство Цебек-Дорджи, очень он мне нравится. Ты видела его позавчера? . . . Это тот самый, который по нашему говорил, такой молодец, настоящий вождь с сердцем и головой . . .

— О! Отец, я так рада вашему решению. Я не могла оторвать свой взор от лица его, смотря в щелку . . . Сделайте его ханом.

— Иди спать, глупенькая девчонка! Не говори отцу таких слов! Моя дочь не может быть женою нищего кочевника-варвара. Застегни это твердо в своей взбалмошной голове»! Гневно закричал Богды-Хан, потрясая костлявыми пальцами. Он догадался, что хочет сказать дочь, поэтому так резко ответил ей.

Закрыв лицо ладонями, убежала дочь в свою спальню, чтобы всю ночь лить слезы девичьи. Редко бывает, чтобы барышня-китаянка в деле брака говорила за себя, но если случается, то поворота от решения не бывает. Дочь же Богды-Хана не привыкла, чтобы ей перечили. Желания ее всегда исполнялись. Она увидела Цебек-Дорджи; от взгляда его защемило ее сердце.

«Не желает отец, чтобы вышла я за степного богатыря с гибким станом и орлиным взором, так не будет у него любимой дочери. Без Цебек-Дорджи мне темен свет» — решила она и с утра, не вставая с постели, отказалась от пищи и питья. Доложили отцу. Богды-Хан знал в чем причина каприза. Но он не знал решимость дочери.

«Ну, если так, то пусть же Цебек-Дорджи не будет даже и торгутским ханом, а простым захудалым нойоном-кочевником, владельцем десятка кибиток и шайки табуна.

Не видать ему ханского трона и не будет ноги его в моем дворце, чтобы не тревожил он покой сердца дочери моей» — решил Богды-Хан и велел позвать

старшего советника, чтобы объявить ему о своем согласии с его мнением по торгутскому вопросу.

«Поселить торгутов в Хана-Шаре. Улусы разбить так, чтобы между ними были и горы и реки, и не меньше семи дней конного пути. Цебек-Дорджиев улус поселить в долине Барсов. Пусть сами выведут там зверей. На первую разведку пусть поедет этот Цебек-Дорджи, если он настоящий богатырь, и шкуры барсов нам привезет в дар» — улыбаясь добавил Богды-Хан.

IV.

Прошло много дней. Дочь Богды-Хана упорно голодала и была уже при смерти. От истощения она едва двигала руками, голос стал еле слышен, но к пище и питью не прикасалась. В большой тревоге душевной был Богды-Хан, но уступать капризной девочке было уже поздно. Весь двор знал о споре между отцом и дочерью и многих интересовал вопрос — кто уступит, император или дочь.

Огорченный неудачей, не поминая причину недовольства им Богды-Хана, ехал Цебек-Дорджи в далекую, неизвестную Долину-Барсов, где приказано селиться его улусу. Он уже жалел, что увел народ из России. Видел он, что опрокинул чашу народной судьбы, раздробил народ, разбросал, из хомута завел в петлю . . .

«Жаль, жаль, ошибку сделал такую, что не поправить . . . Казачий атаман был прав, когда отговаривал меня от мысли об уходе и предлагал союз тайный и крепкий для общей защиты от врагов . . . Было бы нам сидеть на Волге, дружбу с казаками и ногаями держать и в удобный момент свободу свою вернуть . . . Пусть же растерзают меня дикие звери в Долине-Барсов, чем живому покоряться и видеть улыбки моих врагов» — с горечью думал Цебек-Дорджи, сжимая в руке плеть.

В горах Хара-Шарских лежит Долина-Барсов, пустынное обиталище хищных зверей, вытесненных сюда со всех густо населенных уголков Китая. Особенно известны здешние барсы, по которым и долина названа Долиной-Барсов. Через узкое и глубокое горное ущелье

въехал в Долину-Барсов торгутский нойон Цебек-Дорджи, решаясь мужественно умереть, если придется.

Целый день был он тигров, пронзая их сердца стрелой беспромашной, раскрывая черепа их шашкой из черной стали. Навел он страх на всех зверей, взвалил он две шкуры на коня и поехал обратно. Шкуры он привез в подарок Богды-Хану и советнику его. Подарок его редкий приняли, но во дворец его не пригласили, чашу рисовой водки победителю барсов один на один не поднесли . . .

Много раз пыталась семья Богды-Хана примирить дочь и отца, но все было напрасно.

«Пусть откажется от своей безумной мысли. Богды-Ханова дочь, повелителя вечной империи, не может быть женою захудалого кочевника. Цебек-Дорджи нойон мне в пастухи годится» — твердил отец.

«Пусть выдаст меня за Цебек-Дорджи, лучшего из мужчин, которому доступны все троны мира; он прекрасен, он достоен лучшей женщины. Отец о нем лучшего мнения и изменился к нему, узнав о моей любви. Отец неправ» — твердила дочь.

На семнадцатый день она почувствовала дыхание смерти над своей головой. Она приказала позвать отца, чтобы выслушал он последнюю просьбу ее. Взгрустнулось старому Богды-Хану, когда увидел свою любимицу, жалко стало ее. Увидел он, что дочь умирает.

«Пусть Цебек-Дорджи проедет на коне перед моим окном, взгляну в последний раз» — слабым голосом прошептала дочь на ухо наклонившемуся над ней отцу. Задумался отец над умирающей дочерью и заплакал . . . Подумал и приказал: — «Позвать этого Цебек-Дорджи, пусть он на сто локтей от моего дворца проедется перед окном моей дочери» . . .

И отвечал гонцу богатырь торгутский: «Скажи своему хану, что орел и с обломанными крыльями все же — орел, и не подобает хорошему мужчине над ним издеваться . . . Скажи, что Цебек-Дорджи никогда не был игрушкой для других» . . .

Но узнав от гонца, что это желание прекрасной дочери Богды-Хановой, умирающей от любви к нему, повернул он коня и исполнил ее волю.

— «Он прекрасен, как молодой сандал» — произнесла дочь императора и голова ее безжизненно упала на подушку . . .

СЛОВАРЬ СПЕЦ. КАЛМЫЦКИХ ВЫРАЖЕНИЙ

НОЙОН — князь, дворянин.
АРАНДЗАЛ — конь-скакун.
КИБИТКА — шатёр покрытый полостью.
РАКА — водка из молока.
ЦЕГДИК — женское нац. платье без рукавов.
ДЖАТАК — женская шапочка.
БЕШМЕТ — нац. одежда.
ШИРДЫК — подстилка из полсти.
УРУСОВ — русских.
УЛУС — уезд.
АХА-НОЙОН-БАВА — старшая княжна-мать.
АВА — дедушка.
АДЬ — восклицание.
НА ЦАГАНЕ — нац. праздник. От слова цаган — белый.
КАТРАН — съедобная трава.
ХОТОН — посёлок.
АЙМАК — хутор, посёлок.
МЯДИРА — икона святого апостола.
БЮРЕ-БИШКЮР — инструмент на подобие саксадюна.
СЕМЕ — храм.
ЛАМА — архиерей.
ГЕЛЮН — священник.
МАНДЖИК — учащийся на священника.
ХУРУЛ — церковь.
ЗУРХАЧИ — священник-летоисчислитель.

ИЗДАТЕЛЬ — Д. Б. БЕМБЕТОВА, уродж. Шавелькина.

О Г Л А В Л Е Н И Е

Нашей художнице-портретистке, Намджал Санжиновне Бурхиновой приношу мою сердченую благодарность, за исполнение рисунка на обложке.

Другу моего покойного мужа, казачьему поэту Павлу Сергеевичу Полякову, приношу мою глубокую и сердечную благодарность за оказанную мне помощь по изданию этой книги.

Д. Бембетова.